

СЫН ПОЛКА

Посвящается Жене и Павлику Катаевым

Это многих славных путь.

Некрасов

1

Была самая середина глухой осенней ночи. В лесу было очень сыро и холодно. Из черных лесных болот, заваленных мелкими коричневыми листьями, поднимался густой туман.

Луна стояла над головой. Она светила очень сильно, однако ее свет с трудом пробивал туман. Лунный свет стоял подле деревьев косыми, длинными тесинами, в которых, волшебным образом изменяясь, плыли космы болотных испарений.

Лес был смешанный. То в полосе лунного света показывался непроницаемо черный силуэт громадной ели, похожий на многоэтажный терем; то вдруг в отдалении появлялась белая колоннада берез; то на прогалине, на фоне белого, лунного неба, распавшегося на куски, как простокваша, тонко рисовались голые ветки осин, уныло окруженные радужным сиянием.

И всюду, где только лес был пореже, лежали на земле белые холсты лунного света.

В общем, это было красиво той древней, дивной красотой, которая всегда так много говорит русскому сердцу и заставляет воображение рисовать сказочные картины: серого волка, несущего Ивана-царевича в маленькой шапочке набекрень и с пером Жар-птицы

в платке за пазухой, огромные мшистые лапы лешего, избушку на курьих ножках — да мало ли еще что!

Но меньше всего в этот глухой, мертвый час думали о красоте полесской чащи три солдата, возвращавшиеся с разведки.

Больше суток провели они в тылу у немцев, выполняя боевое задание. А задание это заключалось в том, чтобы найти и отметить на карте расположение неприятельских сооружений.

Работа была трудная, очень опасная. Почти все время пробирались ползком. Один раз часа три подряд пришлось неподвижно пролежать в болоте — в холодной, вонючей грязи, накрывшись плащ-палатками, сверху засыпанными желтыми листьями.

Обедали сухарями и холодным чаем из фляжек.

Но самое тяжелое было то, что ни разу не удалось покурить. А, как известно, солдату легче обойтись без еды и без сна, чем без затяжки добрым, крепким табачком. И, как на грех, все три солдата были заядлые курильщики. Так что, хотя боевое задание было выполнено как нельзя лучше и в сумке у старшего лежала карта, на которой с большой точностью было отмечено более десятка основательно разведанных немецких батарей, разведчики чувствовали себя раздраженными, злыми.

Чем ближе было до своего переднего края, тем сильнее хотелось курить. В подобных случаях, как известно, хорошо помогает крепкое словечко или веселая шутка. Но обстановка требовала полной тишины. Нельзя было не только переброситься словечком — даже высморкаться или кашлянуть: каждый звук раздавался в лесу необыкновенно громко.

Луна тоже сильно мешала. Идти приходилось очень медленно, гуськом, метрах в тринадцати друг от друга,

стараясь не попадать в полосы лунного света, и через каждые пять шагов останавливаться и прислушиваться.

Впереди пробирался старшой, подавая команду осторожным движением руки: поднимет руку над головой — все тотчас останавливались и замирали; вытянет руку в сторону с наклоном к земле — все в ту же секунду быстро и бесшумно ложились; махнет рукой вперед — все двигались вперед; покажет назад — все медленно пятились назад.

Хотя до переднего края уже оставалось не больше двух километров, разведчики продолжали идти все так же осторожно, осмотрительно, как и раньше. Пожалуй, теперь они шли еще осторожнее, останавливались чаще.

Они вступили в самую опасную часть своего пути.

Вчера вечером, когда они вышли в разведку, здесь еще были глубокие немецкие тылы. Но обстановка изменилась. Днем, после боя, немцы отступили. И теперь здесь, в этом лесу, по-видимому, было пусто. Но это могло только так казаться. Возможно, что немцы оставили здесь своих автоматчиков. Каждую минуту можно было наскочить на засаду. Конечно, разведчики — хотя их было только трое — не боялись засады. Они были осторожны, опытные и в любой миг готовы принять бой. У каждого был автомат, много патронов и по четыре ручных гранаты. Но в том-то и дело, что бой принимать нельзя было никак. Задача заключалась в том, чтобы как можно тише и незаметнее перейти на свою сторону и поскорее доставить командиру взвода управления драгоценную карту с засеченными немецкими батареями. От этого в значительной степени зависел успех завтрашнего боя.

Все вокруг было необыкновенно тихо. Это был редкий час затишья. Если не считать нескольких далеких

пушечных выстрелов да коротенькой пулеметной очереди где-то в стороне, то можно было подумать, что в мире нет никакой войны.

Однако бывалый солдат сразу заметил бы тысячи признаков того, что именно здесь, в этом тихом, глухом месте, и притаилась война.

Красный телефонный шнур, незаметно скользнувший под ногой, говорил, что где-то недалеко — неприятельский командный пункт или застава. Несколько сломанных осин и помятый кустарник не оставляли сомнения в том, что недавно здесь прошел танк или самоходное орудие, а слабый, не успевший выветриться, особый, чужой запах искусственного бензина и горячего масла показывал, что этот танк или самоходное орудие были немецкими.

В некоторых местах, тщательно обложенных еловыми ветками, стояли, как поленицы дров, штабеля мин или артиллерийских снарядов. Но так как не было известно, брошены ли они или специально приготовлены к завтрашнему бою, то мимо этих штабелей нужно было пробираться с особенной осторожностью.

Изредка дорогу преграждал сломанный снарядом ствол столетней сосны. Иногда разведчики натыкались на глубокий, извилистый ход сообщения или на основательный командирский блиндаж, накатов в шесть, с дверью, обращенной на запад. И эта дверь, обращенная на запад, красноречиво говорила, что блиндаж немецкий, а не наш. Но пустой ли он или в нем кто-нибудь есть, было неизвестно.

Часто нога наступала на брошенный противогаз, на раздавленную взрывом немецкую каску.

В одном месте на полянке, озаренной дымным лунным светом, разведчики увидели среди раскиданных во

все стороны деревьев громадную воронку от авиабомбы. В этой воронке валялось несколько немецких трупов с желтыми лицами и синими провалами глаз.

Один раз взлетела осветительная ракета; она долго висела над верхушками деревьев, и ее плывущий голубой свет, смешанный с дымным светом луны, насквозь озарил лес. От каждого дерева протянулась длинная резкая тень, и было похоже, что лес вокруг стал на ходули. И пока ракета не погасла, три солдата неподвижно стояли среди кустов, сами похожие на полюблевшие кусты в своих пятнистых, желто-зеленых плащ-палатках, из-под которых торчали автоматы. Так разведчики медленно подвигались к своему расположению.

Вдруг старшой остановился и поднял руку. В тот же миг другие тоже остановились, не спуская глаз со своего командира. Старшой долго стоял, откинув с головы капюшон и чуть повернув ухо в ту сторону, откуда ему почудился подозрительный шорох. Старшой был молодой человек лет двадцати двух. Несмотря на свою молодость, он уже считался на батарее бывалым солдатом. Он был сержантом. Товарищи его любили и вместе с тем побаивались.

Звук, который привлек внимание сержанта Егорова — такова была фамилия старшого, — казался очень странным. Несмотря на всю свою опытность, Егоров никак не мог понять его характер и значение.

«Что бы это могло быть?» — думал Егоров, напрягая слух и быстро перебирая в уме все подозрительные звуки, которые ему когда-либо приходилось слышать в ночной разведке.

«Шепот! Нет. Осторожный шорох лопаты? Нет. Повизгивание напильника? Нет».

Странный, тихий, ни на что не похожий прерывистый звук слышался где-то совсем недалеко, направо, за кустом можжевельника. Было похоже, что звук выходит откуда-то из-под земли.

Послушав еще минуту-другую, Егоров, не оборачиваясь, подал знак, и оба разведчика медленно и бесшумно, как тени, приблизились к нему вплотную. Он показал рукой направление, откуда доносился звук, и знаком велел слушать. Разведчики стали слушать.

— Слышать? — одними губами спросил Егоров.

— Слышать, — так же беззвучно ответил один из солдат.

Егоров повернул к товарищам худощавое темное лицо, уныло освещенное луной. Он высоко поднял мальчишеские брови.

— Что?

— Не понять.

Некоторое время они втроем стояли и слушали, положив пальцы на спусковые крючки автоматов. Звуки продолжались и были так же непонятны. На один миг они вдруг изменили свой характер. Всем троим показалось, что они слышат выходящее из земли пение. Они переглянулись. Но тотчас же звуки сделались прежними.

Тогда Егоров подал знак ложиться и лег сам животом на листья, уже поседевшие от инея. Он взял в рот кинжал и пополз, бесшумно подтягиваясь на локтях, по-пластунски.

Через минуту он скрылся за темным кустом можжевельника, а еще через минуту, которая показалась долгой, как час, разведчики услышали тонкое посвистывание. Оно обозначало, что Егоров зовет их к себе. Они поползли и скоро увидели сержанта, который стоял на коленях, заглядывая в небольшой окопчик, скрытый среди можжевельника.

Из окопчика явственно слышалось бормотание, всхлипывание, сонные стоны. Без слов понимая друг друга, разведчики окружили окопчик и растянули руками концы своих плащ-палаток так, что они образовали нечто вроде шатра, не пропускавшего свет. Егоров опустил в окоп руку с электрическим фонариком.

Картина, которую они увидели, была проста и вместе с тем ужасна.

В окопчике спал мальчик.

Стиснув на груди руки, поджав босые, темные, как картофель, ноги, мальчик лежал в зеленой вонючей луже и тяжело бредил во сне. Его непокрытая голова, заросшая давно не стриженными, грязными волосами, была неловко откинута назад. Худенькое горло вздрагивало. Из провалившегося рта с обметанными лихорадкой, воспаленными губами вылетали сиплые вздохи. Слышалось бормотание, обрывки неразборчивых слов, всхлипывание. Выпуклые веки закрытых глаз были нездорового, малокровного цвета. Они казались почти голубыми, как снятое молоко. Короткие, но густые ресницы слиплись стрелками. Лицо было покрыто царапинами и синяками. На переносице виднелся сгусток запекшейся крови.

Мальчик спал, и по его измученному лицу судорожно пробежали отражения кошмаров, которые преследовали мальчика во сне. Каждую минуту его лицо меняло выражение. То оно застывало в ужасе; то нечеловеческое отчаяние искажало его; то резкие глубокие черты безысходного горя прорезывались вокруг его впалого рта, брови поднимались домиком и с ресниц катились слезы; то вдруг зубы начинали яростно скрипеть, лицо делалось злым, беспощадным, кулаки сжимались с такой силой, что ногти впивались в ладони и глухие, хриплые звуки

вылетали из напряженного горла. А то вдруг мальчик впадал в беспамятство, улыбался жалкой, совсем детской и по-детски беспомощной улыбкой и начинал очень слабо, чуть слышно петь какую-то неразборчивую песенку.

Сон мальчика был так тяжел, так глубок, душа его, блуждающая по мукам сновидений, была так далека от тела, что некоторое время он не чувствовал ничего: ни пристальных глаз разведчиков, смотревших на него сверху, ни яркого света электрического фонарика, в упор освещавшего его лицо.

Но вдруг мальчика как будто ударило изнутри, подбросило. Он проснулся, вскочил, сел. Его глаза дико блеснули. В одно мгновение он выхватил откуда-то большой отточенный гвоздь. Ловким, точным движением Егоров успел перехватить горячую руку мальчика и закрыть ему ладонью рот.

— Тише. Свои, — шепотом сказал Егоров.

Только теперь мальчик заметил, что шлемы солдат были русские, автоматы — русские, плащ-палатки — русские, и лица, наклонившиеся к нему, — тоже русские, родные.

Радостная улыбка бледно вспыхнула на его истощенном лице. Он хотел что-то сказать, но сумел произнести только одно слово:

— Наши...

И потерял сознание.

2

Командир батареи капитан Енакиев сидел на небольшой дощатой площадке, устроенной на верхушке сосны, между крепкими суками. С трех сторон площадка была открыта. С четвертой стороны, с западной, на нее бы-

ло положено несколько толстых шпал, защищавших от пуль. К верхней шпале была привинчена стереотруба. К ее рогам было привязано несколько веток, так что сама она походила на рогатую ветку.

Для того чтобы попасть на площадку, надо было подняться по двум очень длинным и узким лестницам. Первая, довольно пологая, доходила примерно до половины дерева. Отсюда надо было подниматься по второй лестнице, почти отвесной.

Кроме капитана Енакиева, на площадке находились два телефониста — один пехотный, другой артиллерийский — со своими кожаными телефонными аппаратами, подвешенными на чешуйчатом стволе сосны, и начальник боевого участка, командир стрелкового батальона Ахунбаев, тоже капитан.

Так как на площадке больше четырех человек не помещалось, то остальные два артиллериста стояли на лестнице: один — командир взвода управления лейтенант Седых, а другой — уже знакомый нам сержант Егоров. Лейтенант Седых стоял на верхних ступеньках, положив локти на доски площадки, а сержант Егоров стоял ниже, и его шлем касался сапог лейтенанта.

Командир батареи капитан Енакиев и командир батальона капитан Ахунбаев были заняты очень срочным, очень важным и очень кропотливым делом: они ориентировали на местности свои карты, уточняя данные, доставленные артиллерийской разведкой. Карты эти, меченые-перемеченные разноцветными карандашами, лежали рядом, разостланные на досках. Оба капитана полулежали на них с карандашами, резинками и линейками в руках.

Капитан Ахунбаев, сдвинув на затылок зеленый шлем и наклонив хмурый, почти коричневый широкий лоб,

резкими, нетерпеливыми движениями толстых пальцев передвигал по своей карте прозрачную линейку. Он пускал в ход то красный карандаш, то резинку и в то же время быстро искоса взглядывал в лицо Енакиеву, как бы говоря: «Ну, что же ты, друг милый, тянешь? Давай дальше. Давай поскорее».

Он, как всегда, горячился и плохо скрывал раздражение.

В эти последние часы, а может быть, даже минуты, перед боем все казалось ему слишком медленным. Он внутренне кипел.

Капитан Енакиев и капитан Ахунбаев были старые боевые товарищи. Случилось так, что последние два года они почти во всех боях действовали вместе. Так все в дивизии и привыкли: где дерется батальон Ахунбаева, там, значит, дерется и батарея Енакиева.

Славный путь проделали плечом к плечу Енакиев и Ахунбаев. Били они немцев под Духовщиной, били под Смоленском, вместе окружали Минск, вместе гнали врага с родной земли. Не раз и не два и даже не три раза столица наша Москва от имени Родины озаряла вечерние тучи над Кремлем огненными залпами в честь доблестного фронта, где воевали батальон Ахунбаева и батарея Енакиева.

Много хлеба и соли съели вместе, за одним походным столом, боевые друзья. Немало воды выпили они из одной походной фляжки. Случалось, что и спали рядом на земле, укрывшись одной плащ-палаткой. Любили друг друга, как родные братья. Однако ни малейшей поправки по службе друг другу не делали, хорошо помня поговорку, что дружба дружбой, а служба службой. И достоинства своего друг перед другом никогда не роняли. А характеры у них были разные.

Ахунбаев был горячий, нетерпеливый, смелый до дерзости. Енакиев тоже был храбр не меньше друга своего Ахунбаева, но был при этом холодноват, сдержан, расчетлив, как и подобает хорошему артиллеристу.

Сейчас, перенося на свою карту данные, добытые разведчиками Енакиева, капитан Ахунбаев торопился покончить с этим делом и поскорее отпустить связных, присланных от каждой роты за схемами разведанной местности: они стояли внизу под деревом и ждали.

Приказ о наступлении еще не был получен. Но по многим признакам можно было заключить, что оно начнется очень скоро, и до его начала Ахунбаев хотел обязательно побывать в ротах и лично проверить их боевую готовность.

Однако как быстро ни скользила целлулоидная линейка Ахунбаева по карте, как проворно ни наносил красный карандаш кружочки, ромбики и крестики среди кудрявых изображений лесов и голубеньких жилок рек, дело подвигалось далеко не так быстро, как хотелось бы капитану. Почти перед каждым новым значком, который Ахунбаев собирался наносить на карту, капитан Енакиев останавливал его учтивым, но твердым движением небольшой сухощавой руки в потертой коричневой замшевой перчатке:

— Прошу вас. Одну минуту повремените, я хочу проверить. Лейтенант Седых!

— Здесь.

— Посмотрите у себя. Квадрат девятнадцать пять. Сорок пять метров северо-северо-восточнее отдельного дерева. Что у вас там замечено?

Не торопясь, но и не копаясь, лейтенант Седых подвигал к себе планшетку, лежавшую на досках на уровне

его груди, опускал немного припухшие, покрасневшие от недосыпания глаза и, покашляв, говорил:

— Подбитый танк, вкопанный в землю и превращенный неприятелем в неподвижную огневую точку.

— Откуда это известно?

— По донесению разведки.

— Правильно, верно, — быстро говорил капитан Ахунбаев, от нетерпения развязывая и завязывая на шее тесемки плащ-палатки. — Моя разведка то же самое доносит. Значит, не может быть двух мнений. Смело можно наносить.

— Все же одну минуточку повремените, — говорил капитан Енакиев, подумав.

Он наклонялся и заглядывал на край площадки вниз.

— Сержант Егоров!

— Здесь, товарищ капитан, — откликнулся сержант Егоров с лестницы.

— Что это у вас там за подбитый танк на квадрате девятнадцать пять? Вы не сочиняете?

— Никак нет.

— Лично видели?

— Так точно.

— Собственными глазами?

— Так точно, собственными глазами. Туда шли — видел и на обратном пути видел. На том же месте стоит.

— Так они что? Выходит, превратили его в неподвижную огневую точку?

— Так точно. В неподвижную огневую точку.

— Откуда это известно?

— Они вокруг него производят земляные работы.

— Закапывают?

— Так точно.

— А может быть, они хотят его вывезти?

— Никак нет. Они к нему как раз, когда мы там были, боеприпасы на полutorке привезли.

— Сами видели?

— Так точно. Собственными глазами. Они ящики выгружали. Тогда же мы и засекли.

— Хорошо. Больше ничего.

— Точно! Точно! — радостно восклицал сквозь зубы капитан Ахунбаев и выставлял на карте маленький красный ромбик.

А то вдруг, уточняя положение какой-нибудь цели, капитан Енакиев, сделав свой учтивый, но твердый останавливающий жест, опускался на колени перед стереотрубой и — как казалось капитану Ахунбаеву, очень долго — рыскал по туманному, слоистому горизонту, то и дело справляясь с картой и прикладывая к ней целлюлоидный круг. В это время Ахунбаев готов был от нетерпения скрипеть зубами и не скрипел только потому, что слишком хорошо знал своего друга. Скрипи или не скрипи, все равно не поможет.

Достаточно было одного взгляда на капитана Енакиева, на его старенькую, но исключительно опрятную, ладно пригнанную шинель с черными петлицами и золотыми пуговицами, на его твердую фуражку с лаковым ремешком, черным околышком и прямым квадратным козырьком, несколько надвинутым на глаза, на его фляжку, аккуратно обшитую солдатским сукном, на электрический фонарик, прицепленный ко второй пуговице шинели, на его крепкие, но тонкие и во всякую погоду начищенные до глянца сапоги, чтобы понять всю добросовестность, всю точность и всю непреклонность этого человека.

Утро было серое, холодное. Иней, выпавший на рассвете, хрупко лежал на земле и долго не таял. Он

медленно испарялся в сыром синем воздухе, мутном, как мыльная вода. Деревья на опушке не шевелились. Но это впечатление было обманчиво. Верхушка сосны раскачивалась по кругу, а вместе с ней раскачивалась и площадка, словно это был плот, который плавно носит вокруг широкого медленного водоворота.

Воздух все время вздрагивал от пушечных выстрелов и разрывов. Это постоянное и неравномерное состояние воздуха можно было не только чувствовать. Его можно было как бы видеть. При каждом ударе в лесу встряхивались деревья, и желтые листья начинали сыпаться гуще, крутясь и колыхаясь.

3

Человеку непривычному могло показаться, что идет большое сражение и что он находится в самом центре этого сражения. На самом же деле была обычная артиллерийская перестрелка, не слишком даже сильная. Какая-нибудь батарея, наша или немецкая, желая пристрелять новую цель, выпускала несколько снарядов. Эту батарею сейчас же засекали наблюдатели противника, и тотчас по ней из глубины ударял какой-нибудь специальный контрбатарейный взвод. За этим взводом, в свою очередь, начиналась охота. Таким образом, очень скоро на участке заваривалась такая каша, что хоть уши затыкай ватой. Со всех сторон били орудия мелких калибров, еще более мелких калибров, средних, калибров покрупнее, наконец, крупных, очень крупных, самых крупных, а иногда и сверхмощные пушки, еле слышно ухавшие глубоко в тылу и вдруг с неожиданным воем, скрежетом, вихрем низвергавшие свои колоссальные снаряды в какой-нибудь на вид невинный лесок, над

которым поднималась в воздух вместе с кустами и деревьями и обваливалась вниз скалистая туча, черная, как антрацит, и прoderнутая в середине молниями.

Иногда откуда-то, с неожиданной стороны, врывался осколок, с силой ударялся в землю, делал рикошет, кружился, трещал, звенел, ныл, как волчок, и с отвратительным стоном уносился прочь, сбивая по пути с деревьев ветки и шишки.

Однако люди, работавшие над картой на верхушке сосны, казалось, ничего этого не слышат и не видят. И только изредка, когда в каком-нибудь месте огонь особенно учащался, телефонист крутил ручку своего кожаного аппарата и негромко говорил:

— Дай «Фиалку». Это «Фиалка»? Говорит «Стул». Проверка линии. Что у вас там делается?.. Пока все тихо? Ну ладно. У нас тоже все тихо. Воюйте дальше. До свидания.

Когда наконец работа была окончена, капитан Ахунбаев сразу повеселел. Он быстро засунул карту в полевую сумку, решительно завязал на короткой шее тесемки плащ-палатки, вскочил на свои короткие, крепкие, немного кривые ноги и крикнул вниз вестовому:

— Коня!

Затем он посмотрел на часы.

— Проверьте. У меня девять шестнадцать. У вас?

— Девять четырнадцать, — сказал капитан Енакиев, скользнув взглядом по своей руке.

Капитан Ахунбаев издал короткий торжествующий гортанный звук. Его глаза сузились, сверкнули глянцевой чернотой.

— Отстаешь, капитан Енакиев.

— Никак нет. Я не отстаю. У меня верно. Это вы топчитесь... по своему обыкновению.

— Зайцев, точное время! — азартно крикнул Ахунбаев.

Телефонист сейчас же позвонил на командный пункт полка и доложил, что время девять часов четырнадцать минут.

— Твоя взяла, бог войны, — миролюбиво сказал Ахунбаев и, приставив свои часы к часам Енакиева, перевел стрелки. — Пусть будет на сей раз по-твоему. Прощай, комбат.

Грубо шурша плащом, он единым духом, не сделав ни одной остановки, спустился мимо посторонившихся артиллеристов по обеим лестницам вниз, бросил карту адъютанту, вскочил на коня и умчался, осыпаясь желтыми листьями.

После этого капитан Енакиев снял со своей записной книжки тугий резиновый поясok и перебрался к стереотрубе. В книжке были записаны цели. Все эти цели были пристреляны. Но капитану Енакиеву хотелось, чтобы они были пристреляны еще лучше. Ему хотелось добиться, чтобы в случае надобности его батарея могла сразу, с первых же выстрелов, перейти на поражение, не тратя драгоценного времени на повторную пристрелку. «Пройтись по целям» не представляло, конечно, никакого труда. Но он боялся, что его батарея, выдвинутая далеко вперед, на линию пехоты, и хорошо спрятанная, может обнаружить себя раньше времени. Вся же задача заключалась именно в том, чтобы ударить совершенно неожиданно, в самый последний, решающий момент боя, и ударить туда, где этого меньше всего ожидают. Такое место, по мнению капитана Енакиева, было на правом фланге боевого участка, между развилками двух дорог и выходом в довольно глубокую балку, поросшую молодым дубняком.

В данный момент это место не представляло ничего интересного. Оно было пустынно. На нем не было ни огневых точек, ни оборонительных сооружений. Обычно на полях сражений таких неинтересных, ничем не замечательных мест бывает довольно много. Сражение проходит мимо них, не задерживаясь. Капитан Енакиев это знал, но у него было сильное, точное воображение.

В сотый раз рисуя себе предстоящий бой во всех возможных подробностях его развития, капитан Енакиев неизменно видел одну и ту же картину: батальон Ахунбаева прорывает немецкую оборонительную линию и погибает правый фланг против возможной контратаки. Потом он нетерпеливо выбрасывает свой центр вперед, закрепляется на оборонительном склоне высоты, против развилки дороги, и, постепенно подтягивая резервы, накапливается для нового, решительного удара по дороге. Именно недалеко от этого места, между развилкой дороги и выходом в балку, капитан Ахунбаев и останавливается. Он должен там остановиться, так как этого потребует логика боя: необходимо будет пополнить патроны, подобрать раненых, привести в порядок роты, а главное — перестроить боевой порядок в направлении следующего удара. А на это необходимо хотя и небольшое, но все же время. Не может быть, чтобы этой паузой не воспользовались немцы. Конечно, они воспользуются. Они выбросят танки. Это самое лучшее время для танковой атаки. Они неожиданно выбросят свой танковый резерв, спрятанный в балке. А в том, что в балке будут спрятаны немецкие танки, капитан Енакиев почти не сомневался, хотя никаких положительных сведений на этот счет не имел. Так говорило ему воображение, основанное на опыте, на тонком понимании маневра и на том особом, математическом складе ума,

который всегда отличает хорошего артиллерийского офицера, привыкшего с быстротой и точностью сопоставлять факты и делать безошибочные выводы.

«А может быть, все же рискнуть, попробовать?» — спрашивал себя капитан Енакиев, подкручивая по глазам окуляры стереотрубы.

Расплывчатый серый горизонт светлел, уплотнялся. Мутные очертания предметов принимали предельно четкую форму. Панорама местности волшебным образом приблизилась к глазам и явственно расслоилась на несколько планов, выступавших один из-за другого, как театральные декорации.

На первом плане, вне фокуса, мутно и странно волнисто выделялись верхушки того самого леса, где стояла сосна с наблюдательным пунктом. Даже один сук этой сосны, чудовищно-приблизженный, прямо-таки лез в глаза громадными кистями игл и двумя громадными шишками.

За ним выступала полоса поля. По нижнему краю этого поля со стереоскопической ясностью тянулась волнистая линия нашего переднего края. Все его сооружения были тщательно замаскированы, и только очень опытный глаз мог открыть их присутствие. Капитан Енакиев не столько видел, сколько угадывал места амбразур, ходов сообщения, пулеметных гнезд.

По верхнему же краю поля так же отчетливо и так же подробно, но гораздо мельче, параллельно нашим окопам тянулись немецкие. И мертвое пространство между ними было так сжато, так сокращено оптическим приближением, что казалось, будто его и вовсе не было.

Еще дальше капитан Енакиев видел водянистую панораму немецких тылов. Он прошелся по ней вскользь. Быстро замелькали оголенные рожицы, сплюснутые

болотца, возвышенности, как бы наклеенные одна на другую, развалины домиков.

И наконец капитан Енакиев вернулся к тому самому месту между развилкой дорог и узкой щелью оврага, которое было занесено в его записную книжку под именем: «Дальномер 17».

Он напряженно всматривался в это ничем не примечательное, пустынное место, и его воображение — в который раз за сегодняшнее утро! — населяло это место движущимися цепями Ахунбаева и маленькими силуэтами немецких танков, которые вдруг начинали один за другим выползать из таинственной щели оврага.

«Или лучше не стоит?» — думал Енакиев, стараясь как можно точнее подвести фокус стереотрубы на это место. Это не была нерешительность. Это не было колебание. Нет. Он никогда не колебался. Не колебался он и теперь. Он взвешивал. Он хотел найти наиболее верное решение. Он хотел отдать себе полный отчет в том, что же для него все-таки выгоднее: с наибольшей точностью пристрелять «цель номер семнадцать», хотя бы для этого пришлось пойти на риск преждевременно обнаружить свою батарею, или до самой последней минуты не обнаруживать батарею, рискуя в критический, даже, быть может, решающий момент боя потерять несколько минут на корректировку.

Но в это время внизу раздался голоса, лестница зашаталась, послышалось дробное позванивание шпор, и на площадку выскочил, тяжело дыша, молодой офицер, почти мальчик, со смуглым курносым лицом и очень черными толстыми бровями. Это был офицер связи. На его лице, которое изо всех сил старалось быть официальным и даже суровым, горела жаркая мальчишеская улыбка.

Он стукнул шпорами, коротко бросил руку к козырьку, точно оторвал ее с силой вниз, и подал капитану Енакиеву пакет.

— Приказ по полку... — сказал он строго, но не удержался и, ярко сверкнув карими глазами, взволнованно добавил: — ...о наступлении!

— Когда? — спросил Енакиев.

— В девять часов сорок пять минут. Сигнал — две ракеты синих и одна желтая. Там написано. Разрешите идти?

Енакиев посмотрел на часы. Было девять часов тридцать одна минута.

— Идите, — сказал он.

Офицер связи стукнул шпорами, вытянулся, бросил руку к козырьку, с силой оторвал ее вниз, повернулся кругом с такой четкостью и щегольством, словно был не на верхушке дерева, а в столовой артиллерийского училища, и одним духом ссыпался вниз по лестницам, обрывая шпоры о перекладины и весело чертыхаясь.

— Лейтенант Седых! — сказал Енакиев.

— Я здесь, товарищ капитан.

— Вы слышали?

— Так точно.

— Командный пункт здесь. Связь между мной и всеми взводами — телефонная. При движении вперед наращивать проволоку без малейшей задержки. От взводов не отрываться ни на одну секунду. В случае нарушения телефонной связи дублируйте по радио открытым текстом. При командире каждой роты назначьте двух человек — один связной, другой наблюдатель. Обо всех изменениях обстановки доносить немедленно по проводу, по радио или ракетами. Задача ясна?

— Так точно.

— Вопросы есть?

— Никак нет.

— Действуйте.

— Слушаюсь.

Лейтенант Седых сошел на одну ступеньку ниже, но остановился:

— Товарищ капитан, разрешите доложить. Совсем из головы выскочило. Как прикажете поступить с мальчиком?

— С каким мальчиком?

Капитан Енакиев нахмурился, но тотчас вспомнил:

— Ах да!

Ему докладывали о мальчике, но он еще не принял решения.

— Так что же у вас там с мальчиком? Где он находится?

— Пока у меня, при взводе управления. У разведчиков.

— Очухался малый?

— Будто ничего.

— Что же он рассказывает?

— Много чего говорит. Да вот сержант Егоров лучше знает.

— Давайте сюда Егорова.

— Сержант Егоров! — крикнул лейтенант Седых вниз. — К командиру батареи!

— Здесь! — тотчас откликнулся Егоров, и его шлем, покрытый ветками, появился над площадкой.

— Что там с вашим мальчиком? Как его самочувствие? Рассказывайте.

Капитан Енакиев сказал не «доклаживайте», а «рассказывайте». И в этом сержант Егоров, всегда очень тонко чувствующий все оттенки субординации, уловил позволение говорить по-семейному. Его утомленные,

покрасневшие после нескольких бессонных ночей глаза открыто и ясно улыбнулись, хотя рот и брови продолжали оставаться серьезными.

— Дело известное, товарищ капитан, — сказал Егоров. — Отец погиб на фронте в первые дни войны. Деревню заняли немцы. Мать не хотела отдавать корову. Мать убили. Бабка и маленькая сестренка померли с голоду. Остался один. Потом деревню спалили. Пошел с сумкой собирать куски. Где-то на дороге попался полевым жандармам. Отправили силком в какой-то ихний страшный детский изолятор. Там, конечно, заразился паршой, поймал чесотку, болел сыпным тифом — чуть не помер, но все же кое-как сдюжил. Потом убежал. Почитай, два года бродил, прятался в лесах, все хотел через фронт перейти. Да фронт тогда далеко был. Совсем одичал, зарос волосами. Злой стал. Настоящий волчонок. Постоянно с собой в сумке гвоздь отточенный таскал. Это он себе такое оружие выдумал. Непременно хотел этим гвоздем какого-нибудь фрица убить. А еще в сумке у него мы нашли букварь. Рваный, потрепанный. «Для чего тебе букварь?» — спрашиваем. «Чтобы грамоте не разучиться», — говорит. Ну что вы скажете!

— Сколько ж ему лет?

— Говорит, двенадцать, тринадцатый. Хотя на вид больше десяти никак не дать. Изголодался, отошал. Одна кожа да кости.

— Да, — задумчиво сказал капитан Енакиев. — Двенадцать лет. Стало быть, когда все это началось, ему еще девяти не было.

— С детства хлебнул, — сказал Егоров, вздыхая.

Они помолчали, прислушиваясь к звукам артиллерийской перестрелки, которая стала заметно стихать, как это всегда бывает перед началом боя.

Скоро наступила напряженная, обманчивая тишина.

— И что же, хороший паренек? — спросил капитан Енакиев.

— Замечательный мальчишка! Шустрый такой, смысленый! — воскликнул Егоров уже совсем подомашнему.

Капитан нахмурился и отвернулся.

Был когда-то и у капитана Енакиева мальчик, сын Костя, правда немного поменьше возрастом — теперь бы ему было семь лет. Были у капитана Енакиева молодая жена и мать. И всего этого он лишился в один день три года назад. Вышел из своей квартиры в Барановичах, по тревоге вызванный на батарею, и с тех пор больше не видел ни дома своего, ни сына, ни жены, ни матери. И никогда не увидит.

Они все трое погибли по дороге в Минск, в то страшное июньское утро сорок первого года, когда немецкие штурмовики налетели на беззащитных людей — стариков, женщин, детей, уходящих пешком по минскому шоссе от разбойников, ворвавшихся в родную страну.

Об их гибели рассказал капитану Енакиеву очевидец, его старый товарищ, случившийся в это время со своей частью возле шоссе. Он не передавал подробностей, которые были слишком ужасны. Да капитан Енакиев и не расспрашивал. У него не хватало духу расспрашивать. Но его воображение тотчас нарисовало картину их гибели. И эта картина уже никогда не покидала его, она всегда стояла перед глазами. Огонь, блеск, взрывы, рвущие воздух в клочья, пулеметные очереди в воздухе, обезумевшая толпа с корзинами, чемоданами, колясками, узлами и маленький, четырехлетний мальчик в синей матросской шапочке, валяющийся, как окровавленная тряпка, раскинув восковые руки между корнями выво-

роченной из земли сосны. Особенно отчетливо виделась капитану Енакиеву эта синяя матросская шапочка с новыми лентами, сшитая бабушкой из старой материнской жакетки.

В это лето, несмотря на свои тридцать два года, капитан Енакиев немного поседел в висках, стал суше, скучней, строже. Мало кто в полку знал о его горе. Он никому не говорил о нем. Но, оставаясь наедине с собой, капитан всегда думал о жене, о матери, о сыне. О сыне он думал всегда как о живом.

Мальчик рос в его воображении. Каждую минуту капитан знал точно, сколько бы ему сейчас было лет и месяцев, как бы он выглядел, что бы говорил, как бы учился. Сейчас его сын, конечно, уже умел бы читать и писать и его матросская шапочка ему бы уже не годилась. Эта шапочка теперь лежала бы у матери в комодке среди других вещей, из которых его Костя уже вырос, и, возможно, из нее бабушка сделала бы теперь какую-нибудь другую полезную вещь — мешочек для перьев или суконку для чистки ботинок.

— Как его звать? — сказал капитан Енакиев.

— Ваня.

— Просто — Ваня?

— Просто Ваня, — с веселой готовностью ответил сержант Егоров, и его лицо расплылось в широкую, добрую улыбку. — И фамилия такая подходящая: Ваня Солнцев.

— Ну так вот что, — подумав, сказал Енакиев, — надо будет его отправить в тыл.

Лицо Егорова вытянулось.

— Жалко, товарищ капитан.

— То есть как это — жалко? — строго нахмурился Енакиев. — Почему жалко?

— Куда же он денется в тылу-то? У него там никого нету родных. Круглый сирота. Пропадет.

— Не пропадет. Есть специальные детские дома для сирот.

— Так-то оно, конечно, так, — сказал Егоров, все еще продолжая держаться семейного тона, хотя в голосе капитана Енакиева уже послышались твердые, командирские нотки.

— Что?

— Так-то оно так, — повторил Егоров, переминаясь на шатких ступенях лестницы. — А все-таки, как бы это сказать, мы уже думали его у себя оставить, при взводе управления. Уж больно смысленый паренек. Прирожденный разведчик.

— Ну, это вы фантазируете, — сказал Енакиев раздраженно.

— Никак нет, товарищ капитан. Очень самостоятельный мальчик. На местности ориентируется все равно как взрослый разведчик. Даже еще получше. Он сам просится. «Выучите меня, говорит, дяденька, на разведчика. Я вам буду, говорит, цели разведывать. Я здесь, говорит, каждый кустик знаю».

Капитан усмехнулся:

— Сам просится... Мало что он просится. Не положено. Да и как мы можем взять на себя ответственность? Ведь это маленький человек, живая душа. А ну как с ним что-нибудь случится? Бывает на войне, что и подстрелить могут. Ведь так, Егоров?

— Так точно.

— Вот видите. Нет, нет. Рано ему еще воевать, пусть прежде подрастет. Ему сейчас учиться надо. С первой же машиной отправьте его в тыл.

Егоров помялся.

— Убежит, товарищ капитан, — сказал он неуверенно.
— То есть как это — убежит? Почему вы так думаете?
— «Если, говорит, вы меня в тыл начнете отправлять, я от вас все равно убегу по дороге».

— Так и заявил?

— Так и заявил.

— Ну, это мы еще посмотрим, — сухо сказал капитан Енакиев. — Приказываю отправить его в тыл. Нечего ему здесь болтаться.

Семейный разговор кончился. Сержант Егоров вытянулся:

— Слушаюсь.

— Все, — сказал капитан Енакиев коротко, как отрубил.

— Разрешите идти?

— Идите.

И в то время, когда сержант Егоров спускался по лестнице, из-за мутной стены дальнего леса медленно вылетела бледно-синяя звездочка. Она еще не успела погаснуть, как по ее следу выкатилась другая синяя звездочка, а за нею третья звездочка — желтая.

— Батарея, к бою, — сказал капитан Енакиев негромко.

— Батарея, к бою! — крикнул звонко телефонист в трубку. И это звонкое восклицание сразу наполнило зловеще притихший лес сотней ближних и дальних отголосков.

4

А в это время Ваня Солнцев, поджав под себя босые ноги, сидел на еловых ветках в палатке разведчиков и ел из котелка большой деревянной ложкой необыкновенно горячую и необыкновенно вкусную крошенку из кар-

тошки, лука, свиной тушенки, перца, чеснока и лаврового листа.

Он ел с такой торопливой жадностью, что непрожеванные куски мяса то и дело останавливались у него в горле. Острые твердые уши двигались от напряжения под косичками серых, давно не стриженных волос.

Воспитанный в степенной крестьянской семье, Ваня Солнцев прекрасно знал, что он ест крайне неприлично. Приличие требовало, чтобы он ел не спеша, изредка вытирая ложку хлебом, и не слишком сопел и чавкал.

Приличие требовало также, чтобы он время от времени отодвигал от себя котелок и говорил: «Много благодарен за хлеб, за соль. Сыт, хватит», — и не приступал к продолжению еды раньше, чем его трижды не попросят: «Милости просим, кушайте еще».

Все это Ваня понимал, но ничего не мог с собой поделать. Голод был сильнее всех правил, всех приличий.

Крепко держась одной рукой за придвинутый вплотную котелок, Ваня другой рукой проворно действовал ложкой, в то же время не отводя взгляда от длинных ломтей ржаного хлеба, для которых уже не хватало рук.

Изредка его синие, как бы немного полинявшие от истощения глаза с робким извинением поглядывали на кормивших его солдат. Их было в палатке двое: те самые разведчики, которые вместе с сержантом Егоровым подобрали его в лесу. Один — костистый великан с добродушным шербатым ртом и непомерно длинными, как грабли, руками, по прозвищу Шкелет, ефрейтор Биденко, а другой — тоже ефрейтор и тоже великан, но великан совсем в другом роде — вернее сказать, не великан, а богатырь: гладкий, упитанный, круглолицый сибиряк Горбунов с каленым румянцем на толстых щеках, с белобрысыми ресницами и светлой

поросычьей щетиной на розовой голове, по прозвищу Чалдон.

Оба великана не без труда помещались в палатке, рассчитанной на шесть человек. Во всяком случае, им приходилось сильно поджимать ноги, чтобы они не вылезали наружу.

До войны Биденко был донбасским шахтером. Каменноугольная пыль так крепко въелась в его темную кожу, что она до сих пор имела синеватый оттенок.

Горбунов же был до войны забайкальским лесорубом. Казалось, что от него до сих пор крепко пахнет ядреными, свежесколотыми березовыми дровами. И вообще весь он был какой-то белый, березовый.

Они оба сидели на пахучих еловых ветках в стеганках, накинутых на богатырские плечи, и с удовольствием наблюдали, как Ваня уписывает крошечку.

Иногда, заметив, что мальчик смущен своей неприличной прожорливостью, общительный и разговорчивый Горбунов доброжелательно замечал:

— Ты, пастушок, ничего. Не смущайся. Ешь вволю. А не хватит, мы тебе еще подбросим. У нас насчет харчей крепко поставлено.

Ваня ел, облизывал ложку, клал в рот большие куски мягкого солдатского хлеба с кисленькой каштановой корочкой, и ему казалось, что он уже давно живет в палатке у этих добрых великанов. Даже как-то не верилось, что еще совсем недавно — вчера — он пробирался по страшному, холодному лесу один во всем мире, ночью, голодный, больной, затравленный, как волчонок, не видя впереди ничего, кроме гибели.

Ему не верилось, что позади были три года нищеты, унижения, постоянного гнетущего страха, ужасной душевной подавленности и пустоты.

Впервые за эти три года Ваня находился среди людей, которых не надо было опасаться. В палатке было прекрасно. Хотя погода стояла скверная, пасмурная, но в палатку сквозь желтое полотно проникал ровный, веселый свет, похожий на солнечный.

Правда, благодаря присутствию великанов в палатке было тесновато, но зато как все было аккуратно, разумно разложено и развешано!

Каждая вещь помешалась на своем месте. Хорошо вычищенные и смазанные салом автоматы висели на желтых палочках, изнутри подпиравших палатку. Шинели и плащ-палатки, сложенные ровно, без единой складки, лежали на свежих еловых и можжевельных ветках. Противогазы и вещевые мешки, поставленные в головах вместо подушек, были покрыты чистыми суровыми утиральниками. При выходе из палатки стояло ведро, покрытое фанерой. На фанере в большом порядке помешались кружки, сделанные из консервных банок, целлулоидные мыльницы, тюбики зубной пасты и зубные щетки в разноцветных футлярах с дырочками. Был даже в алюминиевой чашечке помазок для бритья, и висело маленькое круглое зеркальце. Были даже две сапожные щетки, воткнутые друг в друга щетиной, и возле них коробочка ваксы. Конечно, имелся там же фонарь «летучая мышь».

Снаружи палатка была аккуратно окопана ровиком, чтобы не натекала дождевая вода. Все колышки были целы и крепко вбиты в землю. Все полотнища туго, равномерно натянуты. Все было точно, как полагается по инструкции.

Недаром же разведчики славились на всю батарею своей хозяйственностью. Всегда у них был изрядный неприкосновенный запас сахару, сухарей, сала. В любой

момент могла найтись иголка, нитка, пуговица или добрая заварка чаю. О табачке нечего и говорить. Курево имелось в большом количестве и самых разнообразных сортов: и простая фабричная махорка, и пензенский самосад, и легкий сухумский табачок, и папиросы «Путина», и даже маленькие трофейные сигары, которые разведчики не уважали и курили в самых крайних случаях, и то с отвращением.

Но не только этим славились разведчики на всю батарею.

В первую голову славились они боевыми делами, известными далеко за пределами своей части. Никто не мог сравниться с ними в дерзости и мастерстве разведки. Забираясь в неприятельский тыл, они добывали такие сведения, что иной раз даже в штабе дивизии руками разводили. А начальник второго отдела иначе их и не называл, как «эти профессора капитана Енакиева».

Одним словом, воевали они героически.

Зато и отдыхать после своей тяжелой и опасной работы привыкли толково.

Было их всего шесть человек, не считая сержанта Егорова. Ходили они в разведку большей частью парами через два дня на третий. Один день парой назначались в наряд, а один день парой отдыхали. Что же касается сержанта Егорова, то, когда он отдыхает, никто не знал.

Нынче отдыхали Горбунов и Биденко, закадычные дружки и постоянные напарники. И, хотя с утра шел бой, воздух в лесу ходил ходуном, тряслась земля и ежеминутно по верхушкам деревьев мело низким, оглушающим шумом штурмовиков, идущих на работу или с работы, оба разведчика безмятежно наслаждались вполне заслуженным отдыхом в обществе Вани, которого они уже успели полюбить и даже дать ему прозвище «пастушок».

Действительно, в своих коричневых домотканых портках, крашенных луковичной шелухой, в рваной кацавейке, с торбой через плечо, босой, простоволосый мальчик как нельзя больше походил на пастушонка, каким его изображали в старых букварях. Даже лицо его — темное, сухощавое, с красивым прямым носиком и большими глазами под шапкой волос, напоминавших соломенную крышу старенькой избушки, — было точно-точно как у деревенского пастушка.

Опустошив котелок, Ваня насухо вытер его коркой. Этой же коркой он обтер ложку, корку съел, встал, степенно поклонился великанам и сказал, опустив ресницы:

— Премного благодарны. Много вами доволен.

— Может, еще хочешь?

— Нет, сыт.

— А то мы тебе еще один котелок можем положить, — сказал Горбунов, подмигивая не без хвастовства. — Для нас это ничего не составляет. А, пастушок?

— В меня уже не лезет, — застенчиво сказал Ваня, и синие его глаза вдруг метнули из-под ресниц быстрый, озорной взгляд.

— Не хочешь — как хочешь. Твоя воля. У нас такое правило: мы никого насильно не заставляем, — сказал Биденко, известный своей справедливостью.

Но тщеславный Горбунов, любивший, чтобы все люди восхищались жизнью разведчиков, сказал:

— Ну, Ваня, так как же тебе показался наш харч?

— Хороший харч, — сказал мальчик, кладя в котелок ложку ручкой вниз и собирая с газеты «Суворовский натиск», разостланной вместо скатерти, хлебные крошки.

— Верно, хороший? — оживился Горбунов. — Ты, брат, такого харча ни у кого в дивизии не найдешь. Зна-

менитый харч. Ты, брат, главное дело, за нас держись, за разведчиков. С нами никогда не пропадешь. Будешь за нас держаться?

— Буду, — весело сказал мальчик.

— Правильно, и не пропадешь. Мы тебя в баньке отмоем. Патлы тебе острижем. Обмундирование какое-нибудь справим, чтоб ты имел надлежащий воинский вид.

— А в разведку меня, дяденька, будете брать?

— И в разведку тебя будем брать. Сделаем из тебя знаменитого разведчика.

— Я, дяденька, маленький. Я всюду пролезу, — с радостной готовностью сказал Ваня. — Я здесь вокруг каждый кустик знаю.

— Это и дорого.

— А из автомата палить меня научите?

— Отчего же. Придет время — научим.

— Мне бы, дяденька, только один разок стрелнуть, — сказал Ваня, жадно поглядев на автоматы, покачивающиеся на своих ремнях от беспрестанной пушечной пальбы.

— Стрельнешь. Не бойся. За этим не станет. Мы тебя всей воинской науке научим. Первым долгом, конечно, зачислим тебя на все виды довольствия.

— Как это, дяденька?

— Это, братец, очень просто. Сержант Егоров доложит про тебя лейтенанту Седых. Лейтенант Седых доложит командиру батареи капитану Енакиеву, капитан Енакиев велит дать в приказе о твоём зачислении. С того, значит, числа на тебя и пойдут все виды довольствия: вещевое, приварок, денежное. Понятно тебе?

— Понятно, дяденька.

— Вот как оно делается у нас, у разведчиков... погоди! Ты это куда собрался?

— Посуду помыть, дяденька. Нам мать всегда приказывала после себя посуду мыть, а потом в шкаф убирать.

— Правильно приказывала, — сказал Горбунов строго. — То же самое и на военной службе.

— На военной службе швейцаров нету, — назидательно заметил справедливый Биденко.

— Однако еще погоди мыть посуду, мы сейчас чай пить будем, — сказал Горбунов самодовольно. — Чай пить уважаешь?

— Уважаю, — сказал Ваня.

— Ну и правильно делаешь. У нас, у разведчиков, так положено: как покушаем, так сейчас же чай пить. Нельзя! — сказал Биденко. — Пьем, конечно, внакладку, — прибавил он равнодушно. — Мы с этим не считаемся.

Скоро в палатке появился большой медный чайник — предмет особенной гордости разведчиков, он же источник вечной зависти остальных батареЙцев.

Оказалось, что с сахаром разведчики действительно не считались.

Молчаливый Биденко развязал свой вещевой мешок и положил на «Суворовский натиск» громадную горсть рафинада. Не успел Ваня и глазом мигнуть, как Горбунов бултыхнул в его кружку две большие грудки сахара, однако, заметив на лице мальчика выражение восторга, добултыхнул третью грудку. Знай, мол, нас, разведчиков!

Ваня схватил обеими руками жестяную кружку. Он даже зажмурился от наслаждения. Он чувствовал себя как в необыкновенном, сказочном мире.

Все вокруг было сказочно. И эта палатка, как бы освещенная солнцем среди пасмурного дня, и грохот близкого боя, и добрые великаны, кидающиеся горстями рафинада, и обещанные ему загадочные «все виды

довольствия» — вещевое, приварок, денежное, — и даже слова «свиная тушенка», большими черными буквами напечатанные на кружке.

— Нравится? — спросил Горбунов, горделиво любуясь удовольствием, с которым мальчик тянул чай осторожно вытянутыми губами.

На этот вопрос Ваня даже не мог толково ответить. Губы его были заняты борьбой с чаем, горячим, как огонь. Сердце было полно бурной радости оттого, что он останется жить у разведчиков, у этих прекрасных людей, которые обещают его постричь, обмундировать, научить палить из автомата.

Все слова смешались в его голове. Он только благодарно закивал головой, высоко поднял брови домиком и выкатил глаза, выражая этим высшую степень удовольствия и благодарности.

— Ребенок ведь, — жалостно и тонко вздохнул Биденко, скручивая своими громадными, грубыми, как будто закопченными пальцами хорошенькую козью ножку и осторожно насыпая в нее из кисета пензенский самосад.

Тем временем звуки боя уже несколько раз меняли свой характер.

Сначала они слышались близко и шли равномерно, как волны. Потом они немного удалились, ослабли. Но сейчас же разбушевались с новой, утроенной силой. Среди них послышался новый, поспешный, как казалось, беспорядочный грохот авиабомб, которые все сваливались и сваливались куда-то в кучу, в одно место, как бы молотя по вздрагивающей земле чудовищными кувалдами.

— Наши пикируют, — заметил вскользь Биденко, прислушиваясь среди разговора.

— Хорошо бьют, — одобрительно сказал Горбунов. Это продолжалось довольно долго.

Потом наступила короткая передышка. Стало так тихо, что в лесу отчетливо послышался твердый звук дятла, как бы телеграфирующего по азбуке Морзе.

Пока продолжалась тишина, все молчали, прислушивались.

Потом издали донеслась винтовочная трескотня. Она все усиливалась, крепчала. Ее отдельные звуки стали сливаться. Наконец они слились. Сразу по всему фронту в десятках мест застучали пулеметы. И грозная машина боя вдруг застонала, засвистела, завывала, застучала, как ротационка, пущенная самым полным ходом.

И в этом беспощадном, механическом шуме только очень опытное ухо могло уловить нежный, согласный хор человеческих голосов, где-то очень далеко певших «а-а-а...».

— Пошла царица полей в атаку, — сказал Горбунов. — Сейчас бог войны будет ей подпевать.

И, как бы в подтверждение его слов, опять со всех сторон ударили на разные лады сотни пушек самых различных калибров.

Биденко долго, внимательно слушал, повернув ухо в сторону боя.

— А нашей батарее не слышать, — сказал он наконец.

— Да, молчит.

— Небось наш капитан выжидает.

— Это как водится. Зато потом как ахнет...

Ваня переводил синие испуганные глаза с одного великана на другого, стараясь по выражению их лиц понять, хорошо ли для нас то, что делается, или плохо. Но понять не мог. А спросить не решался.

— Дяденька, — наконец сказал он, обращаясь к Горбунову, который казался ему добрее, — кто кого побеждает: мы немцев или немец нас?

Горбунов засмеялся и слегка хлопнул мальчика по загривку:

— Эх ты!

Биденко же серьезно сказал:

— Ты бы, Чалдон, верно, сбегал бы к радистам на рацию, узнал бы, что там слышно.

Но в это время раздались торопливые шаги человека, споткнувшегося о колышек, и в палатку, нагнувшись, вошел сержант Егоров.

— Горбунов!

— Я.

— Собирайся. Только что в пехотной цепи Кузьминского убило. Заступишь на его место.

— Нашего Кузьминского?

— Да, очередью из автомата. Одиннадцать пуль. По-быстрее.

— Есть!

Пока Горбунов, согнувшись, торопливо надевал шинель и набрасывал через голову снаряжение, сержант Егоров и ефрейтор Биденко молча смотрели на то место, где раньше помещался убитый сейчас разведчик Кузьминский.

Место это ничем не отличалось от других мест. Оно было так же аккуратно — без единой морщинки — застлано зеленой плащ-палаткой, так же в головах стоял вещевой мешок, покрытый суровым утиральником; только на утиральнике лежали два треугольных письма и номер разноцветного журнала «Красноармеец», принесенные полевым почтальоном уже в отсутствие Кузьминского.

Ваня видел Кузьминского только один раз, на рассвете. Кузьминский торопился на смену. Так же, как теперь Горбунов, Кузьминский, согнувшись, надевал через голову снаряжение и выправлял складки шинели из-под револьверной кобуры с большим кольцом медного шомпола.

От шинели Кузьминского грубо и вкусно пахло солдатскими щами. Но самого Кузьминского Ваня рассмотреть не успел, так как Кузьминский сейчас же ушел. Он ушел, ни с кем не простившись, как уходит человек, зная, что скоро вернется. Теперь все знали, что он уже никогда не вернется, и молчаливо смотрели на его освободившееся место. В палатке стало как-то пусто, скучно и пасмурно.

Ваня осторожно протянул руку и пощупал свежий, липкий помер «Красноармейца». Только теперь сержант Егоров заметил Ваню; мальчик ожидал увидеть улыбку и сам приготовился улыбнуться. Но сержант Егоров строго взглянул на него, и Ваня почувствовал, что случилось что-то неладное.

— Ты еще здесь? — сказал Егоров.

— Здесь, — виновато прошептал мальчик, хотя не чувствовал за собой никакой вины.

— Придется его отправить, — сказал сержант Егоров, нахмурясь точно так, как хмурился капитан Енакиев. — Биденко!

— Я!

— Собирайся.

— Куда?

— Командир батареи приказал отправить мальчишку в тыл. Доставишь его с попутной машиной во второй эшелон фронта. Там сдашь коменданту под расписку. Пусть он его отправит в какой-нибудь детский дом. Нечего ему у нас болтаться. Не положено.

— На тебе! — сказал Биденко с нескрываемым огорчением.

— Капитан Енакиев распорядился.

— А жалко. Такой шустрый мальчик.

— Жалко не жалко, а не положено.

Сержант Егоров еще больше нахмурился. Ему и самому было жаль расставаться с мальчиком. Про себя он еще ночью решил оставить Ваню при себе связным и с течением времени сделать из него хорошего разведчика.

Но приказ командира не подлежал обсуждению. Капитан Енакиев лучше знает. Сказано — исполняй.

— Не положено, — еще раз сказал Егоров, властным и резким тоном подчеркивая, что вопрос решен окончательно. — Собирайся, Биденко.

— Слушаюсь.

— Ну, стало быть, так и так, — сказал Горбунов, выправляя складки шинели из-под обмявшей, потертой до глянца кобуры нагана. — Не тужи, пастушок. Раз капитан Енакиев приказал, надо исполнять. Такова воинская дисциплина. По крайней мере, хоть на машине прокатишься. Не так ли? Прощай, брат.

И с этими словами Горбунов быстро, но без суеты вышел из палатки.

Ваня стоял маленький, огорченный, растерянный. Покусывая губы, обметанные лихорадкой, он смотрел то на одевавшегося Биденко, то на сержанта Егорова, который сидел на койке убитого Кузьминского с полукрытыми глазами, бросив руки между колен, и, пользуясь свободной минутой, дремал.

Оба они прекрасно понимали, что творится в душе мальчика. Только что, какие-нибудь две минуты назад, все было так хорошо, так прекрасно, и вдруг все сделалось так плохо.

Ах, какая чудесная, какая восхитительная жизнь начиналась для Вани! Дружить с храбрыми, великодушными разведчиками; вместе с ними обедать и пить чай внакладку, вместе с ними ходить в разведку, париться в бане, палить из автомата; спать с ними в одной палатке; получить обмундирование — сапожки, гимнастерку с погонами и пушечками на погонах, шинель... может быть, даже компас и револьвер-наган с патронами...

Три года жил Ваня, как бродячая собака, без дома, без семьи. Он боялся людей и все время испытывал голод и постоянный ужас. Наконец он нашел добрых, хороших людей, которые его спасли, обогрели, накормили, полюбили. И в этот самый миг, когда, казалось, все стало так замечательно, когда он наконец попал в родную семью — трах! — и всего этого нет. Все это рассеялось, как туман.

— Дяденька, — сказал он, глотая слезы и осторожно тронув Биденко за шинель, — а дяденька! Слушайте, не везите меня. Не надо.

— Приказано.

— Дяденька Егоров... товарищ сержант! Не велите меня отправлять. Лучше пусть я у вас буду жить, — сказал мальчик с отчаянием. — Я вам всегда буду котелки чистить, воду носить...

— Не положено, не положено, — устало сказал Егоров. — Ну, что же ты, Биденко! Готов?

— Готов.

— Так бери мальчика и отправляйся. Сейчас как раз с полкового обменного пункта пятитонка со стреляными гильзами уходит обратным рейсом. Еще захватите. А то наши на четыре километра вперед продвинулись. Закрепляются. Сейчас начнут тылы подтягиваться. Куда мы тогда малого денем? С богом!

— Дяденька! — закричал Ваня.

— Не положено, — отрезал Егоров и отвернулся, чтобы не расстраиваться.

Мальчик понял, что все кончено. Он понял, что между ним и этими людьми, которые еще так недавно любили его, как родного сына, добродушно называли пастушком, теперь выросла стена.

По выражению их глаз, по интонациям, по жестам мальчик чувствовал наверняка, что они продолжают его любить и жалеть. Но так же наверняка чувствовал и другое: он чувствовал, что стена между ними непреодолима. Хоть бейся об нее головой.

Тогда вдруг в душе мальчика заговорила гордость. Лицо его стало злым. Оно как будто сразу похудело. Маленький подбородок вздернулся, глаза упрямо сверкнули исподлобья. Зубы сжались.

— А я не поеду, — сказал мальчик дерзко.

— Небось поедешь, — добродушно сказал Биденко. — Ишь ты, какой злющий. «Не поеду»! Посажу тебя в машину и повезу — так поедешь.

— А я все равно убегу.

— Ну, брат, это вряд ли. От меня еще никто не убегал. Поедем-ка лучше, а то машину не захватим.

Биденко легонько взял мальчика за рукав, но мальчик сердито вырвался:

— Не трожьте, я сам.

И, цепко перебирая босыми ногами, вышел из палатки в лес.

А в лесу уже обозники увязывали на повозках кладь, водители заводили машины, солдаты вытаскивали из земли колья палаток, телефонисты наматывали на катушки провод.

Повар в белом халате поверх шинели торопливо рубил на пне топором ярко-красную баранину.

Всюду валялись пустые ящики, солома, консервные банки с рваными краями, куски газет, и вообще все говорило, что тылы уже тронулись следом за наступающими частями.

5

На другой день поздно вечером Биденко вернулся в свою часть. Он был очень злой и голодный.

За это время на фронте произошли большие перемены. Наступление быстро разворачивалось. Преследуя врага, армия продвинулась далеко на запад.

Там, где вчера шел бой, сегодня размещались вторые эшелоны. Там, где вчера стояли вторые эшелоны, сегодня было тихо, пустынно. А передний край проходил там, где еще вчера у немцев были глубокие тылы.

Лес остался далеко позади. Сражение, начавшееся в нем, теперь продолжалось на открытом месте, среди полей, болот и небольших холмов, поросших кустарником.

На этот раз команда разведчиков помещалась уже не в палатке, а занимала немецкий офицерский блиндаж — прекрасное, солидное сооружение, крытое толстыми бревнами в четыре наката и обложенное сверху дерном.

Хозяйственные разведчики высмотрели себе этот блиндаж еще тогда, когда он находился в немецком расположении и в нем еще жили немецкие офицеры. Засекая немецкие огневые позиции, разведчики на всякий случай засекли и этот блиндаж, который им уже тогда очень понравился.

Когда Биденко, никого по дороге не расспрашивая и единственно руководствуясь своим безошибочным чутьем разведчика, добрался до блиндажа, было уже совсем темно.

На западном горизонте раскатисто гремело, рычало. Там беспрерывно вспыхивали и подергивались, отражаясь в зловещих тучах, длинные багровые сполохи.

Спустившись вниз по земляным ступеням, обшитым тесом, Биденко вошел в просторный блиндаж. Первое, что бросилось ему в глаза, была новая карбидная лампа, лившая из-под потолка очень яркий, но какой-то едкий, химический, мертво-зеленоватый свет. Видно, немцы второпях не успели ее унести.

В стенах, в специальных деревянных нишах, аккуратно рядами, как книги, стояли немецкие ручные гранаты с длинными деревянными ручками.

Посередине стоял крепкий обеденный стол, вбитый в землю. В углу топилась докрасна раскаленная чугунная немецкая походная печка, и рядом с ней был небольшой запасец дров, приготовленный тоже немцами.

Как видно, немцы устраивались здесь прочно, похозяйски, рассчитывали зимовать. Во всяком случае, они даже повесили на стене картину в деревянной раме. Это была большая раскрашенная фотография красивого домика с готической крышей, окруженного ярко цветущими яблонями. Через всю эту слащавую бело-розовую картинку тянулась красная печатная надпись: «Фрюлинг им Дейчланд», что значило: «Весна в Германии».

Во всем же остальном блиндаж уже имел вполне обжитый русский вид: в головах коек, застланных без единой морщинки русскими артиллерийскими шинелями, попонами и палатками, стояли зеленые вещевые мешки, покрытые чистыми утиральниками; на печке грелся знаменитый медный чайник; на столе, покрытом листками «Суворовского натиска», вокруг большой буханки хлеба в строгом порядке были разложены деревянные ложки и расставлены кружки, а хорошо вычищенное, жирно

смазанное русское оружие висело в углах под зелеными русскими шлемами.

В блиндаже было полно народу. Был тот редкий случай, когда все разведчики собрались вместе. Биденко также заметил и много посторонних. Это были знакомые и земляки из других взводов. Они пришли к хлебосольным, зажиточным разведчикам покурить хорошего табачку и попить чайку внакладку из знаменитого чайника.

Судя по всему этому, Биденко понял, что за время его отсутствия в дивизии произошла смена частей и что их батарея в данное время находится в резерве.

Почти все курили, и в жарко натопленном блиндаже стоял тот самый крепкий солдатский дух, о котором принято говорить: «Хоть топор вешай».

— А, здорово, Вася, — увидев дружка, сказал Горбунов, который в это время занимался своим любимым делом — угощал гостей.

Прижав к животу буханку, он нарезал толстые ломти хлеба.

— Ну как, сдал мальчика? Садись к столу. Аккурат к чаю попал.

Он был без гимнастерки, в одной бязевой сорочке, в расстегнутом вороте которой виднелась могучая, жирная, розовая грудь.

— А мы, брат, нынче в резерве. Гуляем. Раздевайся, Вася, грейся. Вот твоя койка, я ее убрал. Ну, как тебе показалась наша новая квартира? Такой, брат, квартиры ни у кого во всей дивизии не сыщешь. Особенная!

Биденко молча разделся, подошел к своей койке, сердито кинул на нее снаряжение и шинель, присел на корточки перед печкой и протянул к ней большие черные руки.

— Ну, что там слыхать в штабе фронта, Вася? Немцы еще мира не запросили?

Биденко молчал, ни на кого не глядя и хмуро посапывая.

— Может, закуришь? — сказал Горбунов, заметив, что дружок его сильно не в духе.

— А, пошло оно все к черту! — неожиданно пробормотал Биденко, пошел к своей койке и вяло на нее повалился животом.

Было ясно, что с Биденко случилась какая-то неприятность, но проявлять излишнее любопытство к чужим делам считалось у разведчиков крайне неприличным. Раз человек молчит, значит, не считает нужным говорить. А раз не считает нужным, то и не надо. Захочет — сам расскажет. И нечего человека за язык тянуть.

Поэтому Горбунов, ничуть не обидевшись и сделав вид, что ничего не замечает, хлопотал по хозяйству, продолжая рассказывать батарейцам о том, как его вчера чуть не убило в пехотной цепи, где он заступил на место убитого Кузьминского.

— Я, понимаешь ты, как раз взялся за ракетницу. Собираюсь давать одну зеленую, чтобы наши перенесли огонь немного подальше. Как вдруг она рядом со мной как хватит! Прямо-таки под самыми ногами разорвалась. Меня воздухом как шибанет! Совсем с ног сбило. Не пойму, где верх, где низ. Даже в голове на одну минуту затемнилось. Открываю глаза, а земля — вот она, тут возле самого глаза. Выходит дело — лежу. — Горбунов захохотал счастливым смехом. — Чувствую — весь побит. Ну, думаю, готово дело. Не встану. Осматриваю себя — ничего такого не замечаю. Крови нигде на мне нет. Это меня, стало быть, соображаю, землей побило. Но зато на шинели шесть штук дырок. На шлеме вмятина с кулак. И,

понимаешь ты, каблук на правом сапоге начисто оторвало. Как его и не бывало. Все равно как бритвой срезало. Бывает же такая чепуха! А на теле, как на смех, ни одной царапины. Вот оно, как снесло каблук. Смотрите, ребята.

Радостно улыбаясь, Горбунов показал гостям попорченный сапог. Гости внимательно его осмотрели. А некоторые даже вежливо потрогали руками.

— Да, собачье дело, — заметил один деловито.

— Бывает, — сказал другой, искоса поглядывая на рафинад, который Горбунов выкладывал на стол. — И то же самое и с нами было. Когда мы под Борисовом форсировали Березину, у нас во взводе у красноармейца Теткина осколком поясной ремень порезало. А его самого даже не задело. Этого никогда не учтешь.

— Кузьма, — сказал вдруг Биденко со своей койки натужным голосом тяжелобольного человека, — слышишь, Кузьма, а где сержант Егоров?

— Сержант Егоров нынче дежурный, — ответил Горбунов, — пошел посты проверять.

— Поди, скоро вернется?

— Грозился к чаю поспеть.

— Так, — сказал Биденко и закрихтел, как от зубной боли.

В этом крихтенье явно слышалась просьба посочувствовать.

— Ты что маешься? — равнодушно сказал Горбунов, всем своим видом показывая, что спрашивает не столько из любопытства, сколько из простой, холодной вежливости.

— А, пошло оно все к черту! — вдруг опять мрачно сказал Биденко.

— Выпей чаю, — сказал Горбунов, — может, полегчает.

Биденко сел на табурет перед столом, но до кружки не дотронулся. Он долго молчал, повернув глаза к печке.

— Понимаешь, какая получилась петрушка, — наконец сказал он неестественно высоким голосом, стараясь придать ему насмешливый оттенок. — Не знаю прямо, как и докладывать буду сержанту Егорову.

— А что?

— Не выполнил приказание.

— Как так?

— Не довез малого до штаба фронта.

— Шутишь!

— Верно говорю. Прохлопал. Ушел.

— Кто ушел?

— Да малый же этот. Ваня наш. Пастушок.

— Стало быть, убежал по дороге?

— Убежал.

— От тебя?

— Ага.

Горбунов некоторое время молчал, а потом вдруг так и затрясся от хохота всем своим большим, жирным телом.

— Как же это ты так сплеховал, Вася, а? Ну, погоди. Придет Егоров, он тебе даст дрозда! Как же это получилось?

— Так и получилось. Убежал, да и все.

— Вот тебе и знаменитый разведчик! «От меня, — хвалился, — еще никто не уходил», — а мальчишка ушел. Ай да Ваня! Ай да пастушок!

— Толковый ребенок, — с вялой улыбкой сказал Биденко.

— Да уж видно, что толковый, коли такого профессора объегорил. Ты все же расскажи, Вася, путем, как дело-то было.

— Убежал и убежал. Чего там рассказывать.

— А все-таки. Ты, брат, всю правду докладывай. Все равно дознаемся.

— А, пошло оно к черту! — сказал Биденко, безнадежно махнув рукой, отправился на свою койку, лег к стене лицом, и больше ничего от него добиться не удалось.

И только впоследствии стали известны все подробности этого беспримерного происшествия.

6

Едва грузовик, позванивая пустыми гильзами и подпрыгивая по корням, проехал по лесу километров пять, как Ваня вдруг схватился руками за высокий борт, сделал отчаянное лицо и сиганул из машины, кувыркнувшись в мох.

Это произошло так быстро и так неожиданно, что Биденко сначала даже потерялся. В первую секунду ему показалось, что мальчика вытряхнуло на повороте.

— Эй там, полегче! — крикнул Биденко, застучав кулаками в кабину водителя. — Остановись, черт! Мальчика потеряли.

Пока водитель тормозил разогнавшуюся машину, Биденко увидел, как мальчик вскочил на ноги, подхватил свою торбу и побежал что есть мочи в лес.

— Эй! Эй! — отчаянным голосом закричал ефрейтор.

Но Ваня даже не оглянулся.

Мелькая руками и ногами, как мельница, он лупил сломя голову по кустам и кочкам, пока не скрылся в пестрой чаще.

— Ваня-а-а! — крикнул Биденко, приложив громадные свои руки ко рту. — Пастушо-о-ок! Погоди-и-и!

Но Ваня не откликнулся, и только гулкое лесное эхо, пересчитав по пути деревья, прилетело назад откуда-то сбоку: «А-о-и! А-о-и!»

— Ну, погоди, чертенок, — сердито сказал Биденко и, попросив водителя чуток подождать, большими шагами, треща по валежнику, отправился в лес за Ваней.

Он не сомневался, что поймает мальчика очень скоро. В самом деле, много ли труда стоит старому, опытному разведчику, одному из самых знаменитых «профессоров» капитана Енакиева, отыскать в лесу убежавшего мальчишку? Смешно об этом и говорить.

На всякий случай покричав во все стороны, чтобы Ваня не валял дурака и возвращался, ефрейтор Биденко приступил к поискам по всем правилам военной науки.

Прежде всего он определился по компасу, для того чтобы в любой момент без труда найти место, где он оставил грузовик. Затем он повернул линейку компаса по тому направлению, в котором скрылся мальчик. Однако по азимуту Биденко не пошел, так как хорошо знал, что, двигаясь в лесу без компаса, мальчик непременно начнет забирать вправо.

Это Биденко хорошо знал по опыту. Двигаясь без компаса в темноте или в условиях ограниченной видимости, человек всегда начинает кружить по ходу часовой стрелки.

Поэтому Биденко, немного подумав и сообразившись со временем, повернул несколько направо и бесшумно пошел мальчику наперехват.

«Там-то я тебя, голубчика, и сцапаю», — не без удовольствия думал Биденко.

Он живо представил себе, как он бесшумно выползет из-за куста перед самым носом Вани, возьмет его за руку и скажет: «Хватит, дружок. Погулял в лесу — и будет.

Пойдем-ка обратно в машину. Да смотри у меня, больше не балуй. Потому что все равно ничего не получится. Не родился еще на свете тот человек, который бы ушел от ефрейтора Биденко. Так себе это и заметь раз навсегда».

И Биденко весело улыбался этим своим приятным мыслям. По правде сказать, ему не хотелось отвозить мальчика в тыл. Уж очень ему нравился этот синеглазый, заросший русыми волосами, худенький, вежливый и вместе с тем гордый, а временами даже и злой парнишка, настоящий «пастушок».

Ваня вызывал в душе у Биденко очень нежное, почти отцовское чувство. Были в нем и жалость, и гордость, и страх за его судьбу. Было и еще что-то, чего Биденко и сам не вполне понимал.

Ваня как-то незаметно напоминал ефрейтору Биденко его самого, когда он был еще совсем маленький и его посылали пасти коров.

Смутно вспомнилось раннее утро, туман, разлитый, как молоко, по ярко-зеленому лугу. Вспоминались разноцветные искорки росы — ярко-зеленые, ярко-фиолетовые, огненно-красные — и в руках у него вырезанная из бузины сопилка, из которой он выдувал такие чистые, такие нежные, веселые и вместе с тем однообразные звуки.

Особенно же ему полюбился Ваня после того, как он на полном ходу выпрыгнул из машины.

«Смелый чертенок! Ничего не боится. Настоящий солдат, — думал Биденко. — Жалко, очень жалко его отвозить. Да ничего не поделаешь. Приказано».

Размышляя таким образом, разведчик все шел да шел, углубляясь в лес. По его расчетам, он уже давно должен был встретить мальчика. Но мальчик не показывался.

Биденко часто останавливался, прислушиваясь к тишине осеннего леса. Впрочем, его опытному слуху лес не казался совсем тихим. Биденко различал в лесу множество различных, еле уловимых звуков. Но среди них ни разу не услышал он звука человеческих шагов.

Мальчик пропал.

Нигде не было ни малейших его следов. Напрасно Биденко осматривал каждый кустик, каждый ствол. Напрасно он ложился на землю, изучая опавшие листья, травинки и мох. Нигде ничего. Можно было подумать, что мальчик шел по воздуху.

Биденко готов был поручиться, что ни один даже самый искусный разведчик не прошел бы так незаметно.

В некотором смущении Биденко бродил по лесу, меняя направление. Он ломал себе голову над необъяснимым отсутствием всяких следов мальчика.

Один раз он даже унизился до того, что маленько покричал лживым, бабьим голосом:

— Ванюшка-а-а! Ау-у-у! Полно балова-а-ать! Пора еха-а-ать!

И тут же сам себе стал противен.

Он посмотрел на часы и увидел, что ищет мальчика уже больше двух часов. Тогда ему стало ясно, что мальчик ушел, что его уже не вернешь.

Никогда в жизни старый разведчик не испытывал еще такого конфуза. Как же он теперь будет докладывать сержанту Егорову? Как он ему в глаза посмотрит? О товарищах и говорить нечего: засмеют. Впору хоть сквозь землю провалиться.

Но делать было нечего. Не бродить же здесь до ночи, как леший.

Биденко справился с компасом и, кряхтя, пошел обратно к машине. Однако машины, как он того и ожидал,

уже не было. Она уехала. Водитель, имеющий срочное боевое задание, не имел права дожидаться так долго. Да, в сущности, машина была теперь и ни к чему. Приходилось возвращаться.

Но, прежде чем тронуться в обратный путь, Биденко решил покурить и перемотать портянки.

Он отыскал в лесу подходящий пенек и сел на него. Но только он сделал козью ножку и, осторожно потряхивая кiset, стал насыпать махорку, как вдруг что-то зашуршало по веткам, и сверху ему на голову свалился какой-то предмет.

Ему показалось, что это какая-то птица. Но, посмотрев, Биденко ахнул. Это был тот самый старый букварь без переплета, который носил в своей торбе пастушок.

Тогда Биденко посмотрел вверх и увидел на самой верхушке, среди зеленых ветвей, знакомые коричневые домотканые портки, из которых торчали босые ноги, грязные, как картошка.

В тот же миг Биденко вскочил как ужаленный, швырнул на землю кiset с махоркой, недоделанную козью ножку и даже приготовленную зажигалку и в одну минуту был уже на дереве.

Ваня не шевелился. Биденко подтянулся к нему на руках и увидел, что мальчик спит. Он сидел верхом на желто-розовом смолистом суку, обняв тоненький чешуйчатый лиловый ствол, и, прислонив к нему голову, спал глубоким детским сном. Тень ресниц лежала на его голубоватых щеках, а на губах, обметанных лихорадкой, застыла чуть заметная невинная улыбка. При этом мальчик даже немного похрапывал.

Биденко сразу понял все. Пастушок обвел его вокруг пальца самым невинным и самым простым образом. Вместо того чтобы бегать от разведчика по всему

лесу, Ваня поступил наоборот: сейчас же, как только скрылся из виду, взобрался на высокое дерево и решил пересидеть суматоху, а потом спокойно спуститься вниз и уйти своей дорогой. Если бы не букварь, упавший из распоровшейся торбы, несомненно, так бы оно и было.

«Ах, хитрый! Ну же, я вам скажу, и лисица! Ничего не скажешь — силен!» — с восхищением подумал Биденко, любуясь Ваней.

Биденко осторожно и крепко обнял мальчика за плечи, близко заглянул в его спящее лицо и ласково сказал: — Пойдем-ка, брат пастушок, вниз.

Ваня быстро открыл глаза, увидел солдата, рванулся. Но Биденко держал его крепко.

Мальчик сразу понял, что ему не вырваться.

— Ладно уж, — сказал он сумрачным голосом, хрипловатым со сна.

7

Минут через пять, подобрав букварь, махорку и зажигалку, они шли по лесу, разыскивая дорогу, где можно было сесть на попутную машину, идущую во второй эшелон фронта.

Ваня шел впереди, а Биденко — на шаг сзади, ни на секунду не спуская с мальчика глаз.

— Хватит, дружок, — говорил Биденко назидательно, — погулял в лесу — и будет. Потому что все равно ничего не получится. Не родился еще на свете такой человек, который бы от меня ушел. Так себе это и запомни.

— Неправда ваша, — сердито отвечал Ваня не оборачиваясь. — Кабы не мой букварь, вы бы меня сроду не поймали.

— Небось поймал бы.

— Неправда ваша.

- Верно говорю. От меня еще никто не уходил.
- А я ушел.
- Не ушел бы.
- Если бы да кабы.
- Вот тебе и «да кабы»!
- Неправда ваша.
- Заладил одно.
- Неправда ваша. Неправда ваша, — упрямо повторял Ваня.
- Весь бы лес прочесал, а нашел.
- Чего же вы не прочесали?
- Стало быть, не прочесал. Много будешь спрашивать — язык измочалишь. Я бы тебя по приметам нашел.
- Чего же вы меня не нашли?
- Я тебя нашел.
- Неправда ваша. Я вас хитрее. Вы меня по компасу искали — и то не нашли.
- Чего языком треплешь? Когда я тебя по компасу искал?
- А вот искали! Вы меня не видели, а я с дерева вас видел.
- Чего же ты видел?
- Видел, как вы на мой след компас направляли.
- «Вот чертенок, все он замечает!» — подумал Биденко почти с восхищением. Но сказал строго:
- Это, брат, не твоего ума дело. Я только по компасу определялся, чтобы машину не потерять. А тебя это не касается.
- Тут Биденко немного покривил душой. Но это ему все равно не помогло.
- Неправда ваша, — сказал Ваня неумолимо. — Вы меня по компасу ловили. Я знаю. Только вам это не удалось, потому что я вас обхитрил. А я бы вас без вся-

кого компаса за полчаса нашел в каком хотите лесу, хоть днем, хоть ночью.

— Ну, браток, это ты чересчур хватил.

— Давайте спорить.

— Стану я еще с тобой спорить! Молод.

— Ну давайте так испытаем. Без спора. Вы мне завяжите чем-нибудь глаза да уйдите от меня в лес. А я минут через пяток начну вас искать.

— Ну и не найдешь.

— А вот найду.

— Никогда!

— Испытаем.

— А ну, давай! — воскликнул Биденко, в котором вдруг вспыхнул азарт разведчика. — Нипочем не найдешь. погоди, — сказал он вдруг подозрительно. — Это что же получается? Я от тебя в лес уйду, а ты в это время от меня опять убежишь? Э, нет, малый, больно ты хитер, как я на тебя посмотрю.

Ваня усмехнулся:

— Бойтесь, что уйду?

— Ничего я не боюсь, — хмуро сказал Биденко, — а просто чересчур много ты болтаешь. Через тебя у меня уже голова болит.

— Вы не бойтесь, — сказал мальчик весело, — я от вас и так все равно уйду.

И такая глубокая уверенность, такое непреклонное решение послышалось ефрейтору Биденко в этих веселых словах, что он хотя и промолчал, но решил про себя все время быть начеку.

А мальчику как вожжа попала под хвост. Он бодро топал впереди Биденко своим крепкими босыми ногами и, как бы платя за обиду, которую ему нанесли разведчики, вызывающе повторял:

— Вот уйду! Хотя вы меня привяжите к себе. Вот все равно уйду.

— А что ж ты думаешь? И привяжу. У меня это недолго. Посмотрим, как ты тогда уйдешь.

Биденко задумался.

— Ей-богу, — вдруг решительно сказал он, — вот возьму веревку и привяжу!

У Биденко действительно, как у каждого запасливого разведчика, всегда при себе имелось метров пять тонкой и крепкой веревки. И он начал подумывать всерьез, не привязать ли Ваню к себе, когда они сядут в машину.

Ехать предстояло довольно далеко. В дороге можно было бы хорошо вздремнуть. А как тут вздремнешь, если мальчишка может каждую минуту сигануть через борт!

«А что, в самом деле, — подумал Биденко, — привяжу — и кончено дело. А потом, как приедем на место, отвяжу. Ничего с ним не сделается».

И действительно, когда вышли на дорогу и забрались в попутную машину, Биденко достал из кармана аккумуляторно свернутую веревку.

— Ну, держись, пастушок, сейчас я тебя привязывать буду, — весело сказал он, стараясь разыграть дело в шутку, чтобы не оскорбить мальчика.

Но Ваня и не подумал обидеться. Он легко принял этот якобы шутливый тон и ответил в таком же духе:

— Привязывайте, дяденька, привязывайте. Только сделайте узел покрепче, чтобы я не развязал.

— Моего, брат, узла не развяжешь: у меня двойной морской.

С этими словами Биденко крепко, но не больно привязал конец веревки двойным морским узлом к Ваниной руке повыше локтя, а другой конец обмотал вокруг своего кулака.

— Теперь, брат пастушок, плохо твое дело. Не убежишь.

Мальчик промолчал. Он прикрыл ресницами глаза, в которых неистово прыгали синие искры.

Грузовик попался очень хороший, большой, крытый брезентом — новенький американский «студебеккер». Он шел порожняком до самого места. Сперва Биденко и Ваня были в нем единственные пассажиры. Они очень удобно устроились на пустых мешках, у самой кабинки водителя, где совсем не трясло.

Биденко несколько раз пытался заговаривать с мальчиком, но Ваня все время упорно молчал.

«Смотрите пожалуйста, какой гордый! — думал с умилением Биденко. — Маленький, а злой. Самостоятельный у паренька характер. Видать, немало хлебнул в жизни».

И ему опять стали представляться далекие картины его детства.

Тем временем у каждого контрольно-проверочного пункта в машину подсаживались все новые и новые люди. Скоро машина переполнилась.

Здесь были солдаты с переднего края, только что из боя. Их сразу можно было узнать по шлемам и коротким грязным плащ-палаткам, завязанным на шее и висящим сзади длинным углом.

Были два интенданта в тесных шинелях с узкими серебряными погончиками и в новеньких, твердых фуражках.

Была девушка из Военторга, в макинтоше, в коротких кирзовых сапогах, с круглым пунцовым лицом, выглядывающим из платка, завязанного по-бабьи, как кочан капусты.

Было несколько веселых летчиков-истребителей. Они все время курили папиросы из толстых прозрач-

ных портсигаров, сделанных на авиационном заводе из отходов бронестекла.

Была женщина — военный хирург, толстая, пожилая, в круглых очках и в синем берете, плотно натянутом на седую, коротко остриженную голову.

Словом, были все те люди, которые обычно передвигаются по военным дорогам на попутных машинах.

Стемнело.

По брезентовой крыше зашумел дождь. Ехать было еще далеко. И люди стали помаленьку засыпать, устраиваясь кто как мог.

Стал засыпать и ефрейтор Биденко, положив под голову кулак с намотанной на него веревкой. Однако сон его был чуток. Время от времени он просыпался и подергивал за веревку.

— Ну, что вам надо? — сонно отзывался Ваня. — Я еще тут.

— Спишь, пастушок?

— Сплю.

— Ладно. Спи. Это я так: проверка линии.

И Биденко засыпал опять.

Один раз ему почудилось вдруг, что Вани возле него нет. Сел, торопливо подергал за веревку, но не получил никакого ответа. Холодный пот прошиб ефрейтора. Он вскочил на колени и засветил электрический фонарик, который все время держал наготове.

Нет. Ничего. Все в порядке. Ваня по-прежнему спал рядом, прижав к животу колени. Биденко осветил ему в лицо. Оно было спокойно. Сон его был так крепок, что даже свет электрического фонарика, наставленного в упор, не мог его разбудить.

Биденко потушил фонарик и вспомнил ту ночь, когда они нашли Ваню. Тогда ему тоже осветили в лицо фо-

нариком. Но какое у него тогда было лицо: измученное, больное, костлявое, страшное. Как он тогда сразу весь вздрогнул, встрепенулся. Как дико открылись его глаза. Какой ужас отразился в них.

Ведь это было всего несколько дней тому назад. А теперь мальчик спит себе спокойно и видит приятные сны. Вот что значит попасть наконец к своим. Верно люди говорят, что в родном доме и стены лечат.

Биденко лег и под мерное подсакивание грузовика снова задремал.

На этот раз он проспал довольно долго и спокойно. Но все же, проснувшись, не забыл подергать за веревку.

Ваня не откликнулся.

«Спит небось, — подумал Биденко. — Утомился».

Биденко перевернулся на другой бок, немножко опять поспал, потом опять на всякий случай подергал за веревку.

— Слушайте, я не понимаю, что тут делается? Когда это наконец кончится? — раздался в темноте сердитый женский бас. — Почему ко мне привязали какую-то веревку? Почему меня дергают? Кто мне все время не дает спать?

Биденко похолодел.

Он зажег электрический фонарик, и в глазах у него потемнело. Мальчика не было. А веревка была привязана к сапогу женщины-хирурга, которая сидела на полу, грозно сверкая очками, в упор освещенными электрическим фонариком.

— Эй, остановись! — заорал Биденко страшным голосом, изо всех сил барабанив кулаком в кабину водителя.

Не дожидаясь остановки, он ринулся по чьим-то рукам, ногам, по вещевым мешкам и чемоданам к выходу.

Он одним махом перескочил через борт и очутился на шоссе.

Ночь была черная, непроглядная. Хлестал холодный дождь. На западном горизонте мелькали отражения далекого артиллерийского боя.

По шоссе в ту и другую сторону проносились десятки, сотни грузовых и легковых машин, транспортеры, тягачи, пушки, бензозаправщики. Они бегло освещали своими фарами черные лужи, покрытые белыми сверкающими кругами и пузырьками ливня.

Биденко постоял некоторое время, слегка расставив руки и ноги. Потом он изо всех сил плюнул и сказал:

— А, пошло оно все к черту!

И не торопясь побрел назад, к ближайшему регулировщику, для того чтобы там сесть на попутную машину, идущую в сторону переднего края.

8

— А ну, хлопчик, отойди от калитки. Здесь посторонним стоять не положено.

— Я не посторонний.

— А кто же ты?

— Я свой.

— Какой свой?

— Советский.

— Мало что советский. Говорю, не положено, стало быть, не положено. Проходи своей дорогой.

— А здесь, дяденька, штаб?

— Что бы ни было.

— Мне к начальнику надо.

— К какому тебе начальнику?

— К самому главному.

— Ничего не знаю. Проходи.
— Пустите, дяденька. Что вам стоит?
— Ступай. Мне с тобой разговаривать не приходится.
Не видишь — я на посту.

— А вы со мной, дяденька, и не разговаривайте. Пропустите меня к начальнику — и ладно.

— Ишь ты, какой шустрый! — сказал часовой, усмехаясь, и вдруг, нахмурившись, крикнул: — Нету здесь никакого начальника!

— А вот неправда ваша. Есть начальник.

— Ты почему знаешь?

— Сразу видать. Изба хорошая. Лошади под седлами во дворе стоят. Самовар в сени тетенька понесла. Часовой у калитки.

— Все он видит! Больно ты шустрый, как я на тебя посмотрю.

— Пустите, дяденька!

— А вот я сейчас дам свисток, вызову караульного начальника, он тебя живо отсюда заберет.

— Куда заберет?

— Куда надо. Ну! Кому я говорю? Отойди от калитки. Не положено. Вот тебе и весь сказ.

Ваня отошел в сторону. Он сел на старый мельничный жернов, положил подбородок на кулаки и стал терпеливо ждать, не спуская глаз с калитки.

Часовой поправил на шее ремень автомата и продолжал ходить взад-вперед по палисаднику, мягко ступая белыми валенками, подшитыми оранжевой кожей.

Убежав второй раз от Биденко, Ваня стал разыскивать тот лес, где находилась палатка разведчиков. Никакого определенного плана у Вани не было. Его тянуло к тем людям — разведчикам, которые сперва обошлись с ним так хорошо, так ласково.

То, что они отправили его в тыл, казалось мальчику большим недоразумением, которое можно легко уладить. Стоит только еще раз хорошенько попросить.

Однако, как ни хорошо умел мальчик различать местность и находить дорогу, ему никак не удавалось отыскать тот лес и ту палатку. Слишком все передвинулось на запад. Слишком все переменялось, стало неузнаваемым.

Ваня знал, что бродит где-то поблизости, может быть, даже рядом. Но ни того леса, ни той палатки не было. Похоже, что лес был тот. Но теперь он был совсем пуст.

Двое суток бродил мальчик по каким-то неизвестным ему, новым военным дорогам и частям, по сожженным деревьям, спрашивая встречных военных, как ему найти палатку разведчиков. Но так как он не знал, что это за разведчики, какой они части, то никто ничего сказать не мог.

Кроме того, все военные были люди крайне недоверчивые, молчаливые.

Чаще всего на Ванины вопросы они отвечали:

- Не знаю.
- А тебе зачем?
- Ступай к коменданту.
- Не положено.

И все в таком же духе.

Ваня совсем было отчаялся и уже подумывал, не податься ли на самом деле в какой-нибудь тыловой город, не попроситься ли там в детский дом.

Он, наверное, в конце концов так бы и сделал, несмотря на свое упрямство, если бы не встретился с одним мальчиком.

Мальчик этот был не намного старше Вани. Ему было лет четырнадцать. А по виду и того меньше. Но, боже мой, что это был за мальчик!

Сроду еще не видал Ваня такого роскошного мальчика. На нем была полная походная форма гвардейской кавалерии: шинель — длинная, до пят, как юбка; круглая кубанская шапка черного барашка с красным верхом; погоны с маленькими стремянами, перекрещенными двумя клинками; шпоры и, как венец всего этого воинского великолепия, ярко-алый башлык, небрежно закинутый за спину. Лихо откинув чубатую голову, мальчик чистил небольшую казацкую шашку, почти до самой рукоятки втыкая клинок в мягкую лесную землю.

К такому мальчику даже страшно было подойти, не то что с ним разговаривать. Однако Ваня был не робкого десятка. С независимым видом он приблизился к роскошному мальчику, расставил босые ноги, заложил руки за спину и стал его рассматривать.

Но военный мальчик и бровью не повел. Не обращая на Ваню никакого внимания, он продолжал свое воинственное занятие. Изредка он озабоченно сплевывал сквозь зубы.

Ваня молчал. Молчал и мальчик. Это продолжалось довольно долго. Наконец военный мальчик не выдержал.

— Чего стоишь? — сказал он сумрачно.

— Хочу и стою, — сказал Ваня.

— Иди, откуда пришел.

— Сам иди. Не твой лес.

— А вот мой!

— Как?

— Так. Здесь наше подразделение стоит.

— Какое подразделение?

— Тебя не касается. Видишь — наши кони.

Мальчик мотнул чубатой головой назад, и Ваня действительно увидел за деревьями коновязь, лошадей, черные бурки и алые башлыки конников.

— А ты кто такой? — спросил Ваня.

Мальчик небрежно, со щегольским стуком кинул клинок в ножны, сплюнул и растер сапогом.

— Знаки различия понимаешь? — сказал мальчик насмешливо.

— Понимаю! — дерзко сказал Ваня, хотя ничего не понимал.

— Ну так вот, — строго сказал мальчик, показывая на свой погон, поперек которого была нашита белая лычка. — Ефрейтор гвардейской кавалерии. Понятно?

— Да! Ефрейтор! — с оскорбительной улыбкой сказал Ваня. — Видали мы таких ефрейторов!

Мальчик обидчиво мотнул белым чубом.

— А вот представь себе, ефрейтор! — сказал он.

Но этого показалось ему мало. Он распахнул шинель. Ваня увидел на гимнастерке большую серебряную медаль на серой шелковой ленточке.

— Видал?

Ваня был подавлен. Но он и виду не подал.

— Великое дело! — сказал он с кривой улыбкой, чуть не плача от зависти.

— Великое не великое, а медаль, — сказал мальчик, — за боевые заслуги. И ступай себе, откуда пришел, пока цел.

— Не больно модничай. А то сам получишь.

— От кого? — прищурился роскошный мальчик.

— От меня.

— От тебя? Молод, брат.

— Не моложе твоего.

— А тебе сколько лет?

— Тебя не касается. А тебе?

— Четырнадцать, — сказал мальчик, слегка привирая.

— Ге! — сказал Ваня и свистнул.
— Чего — ге?
— Так какой же ты солдат?
— Обыкновенный солдат. Гвардейской кавалерии.
— Толкуй! Не положено.
— Чего не положено?
— Больно молод.
— Постарше тебя.
— Все равно не положено. Таких не берут.
— А вот меня взяли.
— Как же это тебя взяли?
— А вот так и взяли.
— А на довольствие зачислили?
— А как же.
— Заливаешь.
— Не имею такой привычки.
— Побожись.
— Честное гвардейское.
— На все виды довольствия зачислили?
— На все виды.
— И оружие дали?
— А как же! Все, что положено. Видал мою шашечку? Знатный, братец, клинок. Златоустовский. Его, если хочешь знать, можно колесом согнуть, и он не сломается. Да это что? У меня еще бурка есть. Бурочка что надо. На красоту! Но я ее только в бою надеваю. А сейчас она за мной в обозе ездит.

Ваня проглотил слюну и довольно жалобно посмотрел на обладателя бурки, которая ездит в обозе.

— А меня не взяли, — убито сказал Ваня. — Сперва взяли, а потом сказали — не положено. Я у них даже один раз в палатке спал. У разведчиков, у артиллерийских.

— Стало быть, ты им не показался, — сухо сказал ро-скошный мальчик, — раз они тебя не захотели принять за сына.

— Как это — за сына? За какого?

— Известно, за какого. За сына полка. А без этого не положено.

— А ты — сын?

— Я — сын. Я, братец, у наших казачков уже второй год за сына считаюсь. Они меня еще под Смоленском приняли. Меня, братец, сам майор Вознесенский на свою фамилию записал, поскольку я являюсь круглый сирота. Так что я сейчас называюсь гвардии ефрейтор Вознесенский и служу при майоре Вознесенском связным. Он меня, братец мой, один раз даже вместе с собой в рейд взял. Там наши казачки ночью большой шум в тылу у фашистов сделали. Как ворвутся в одну деревню, где стоял их штаб, а они как выскочат на улицу в одних подштанниках! Мы их там больше чем полторы сотни набили.

Мальчик вытащил из ножен свою шашку и показал Ване, как они рубали фашистов.

— И ты рубал? — с дрожью восхищения спросил Ваня.

Мальчик хотел сказать «а как же», но, как видно, гвардейская совесть удержала его.

— Не, — сказал он смущенно. — По правде, я не рубал. У меня тогда еще шашки не было. Я на тачанке ехал вместе со станковым пулеметом... Ну и, стало быть, иди, откуда пришел, — сказал вдруг ефрейтор Вознесенский, спохватившись, что слишком дружески болтает с этим неизвестно откуда взявшимся довольно-таки подозрительным гражданином. — Прощай, брат.

— Прощай, — уныло сказал Ваня и побрел прочь.

«Стало быть, я им не показался», — с горечью подумал он. Но тотчас всем своим сердцем почувствовал, что это неправда. Нет, нет. Сердце его не могло обмануться. Сердце говорило ему, что он крепко полюбился разведчикам. А всему виной командир батареи капитан Енакиев, который его даже в глаза никогда не видел.

И тогда у Вани явилась мысль идти добиться до какого-нибудь самого главного начальника и пожаловаться на капитана Енакиева.

Таким-то образом он в конце концов и набрел на избу, где, по его предположению, помещался какой-то высокий начальник.

Он сидел на мельничном жернове и, не спуская глаз с избы, терпеливо ждал, не покажется ли этот начальник.

Через некоторое время на крыльцо вышел, надевая замшевые перчатки, офицер и крикнул:

— Соболев, лошадь!

9

Судя по той быстроте и готовности, с которой из-за угла выскочил солдат, ведя на поводу двух оседланных лошадей, мальчик сразу понял, что это начальник, если не самый главный, то, во всяком случае, достаточно главный, чтобы справиться с капитаном Енакиевым.

Это же подтверждали и звездочки на погонах. Их было очень много: по четыре штучки на каждом золотом погоне, не считая пушечек.

«Хоть и не старый, а небось генерал», — решил Ваня, с почтением рассматривая тонкие, хорошо начищенные сапоги со шпорами, старенькую, но необыкновен-

но ладно пригнанную походную офицерскую шинель, электрический фонарик на второй пуговице, бинокль на шее и полевую сумку с компасом.

Солдат вывел лошадей на улицу через ворота и поставил их перед калиткой. Офицер подошел к лошади, но, прежде чем на нее сесть, весело потрепал ее по крепкой атласной шее и дал ей кусочек сахара.

Судя по всему, у него было прекрасное настроение.

Когда нынче его вызвал к себе командир полка, то он, признаться, был немного встревожен. Как бывает всегда в подобных случаях, он ожидал разноса, хотя никаких упущений по службе за собой не чувствовал.

Однако строгий командир полка не только не сделал ему никакого замечания, но даже отметил хорошую работу его батареи и приказал представить к награждению человек десять артиллеристов, отличившихся в последнем бою. В особенности же было приятно то, что полковник — человек суховатый и скупой на похвалы — высоко оценил именно тот внезапный, сокрушительный огневой налет на немецкий танковый резерв, который так тщательно продумал и подготовил капитан Енакиев и который в конечном счете решил дело.

Полковник напоил капитана чаем из своего походного самовара, что считалось в полку величайшей честью. Он проводил капитана Енакиева до сеней и на прощание сказал еще раз:

— В общем, хорошо воюете. Молодцом, капитан Енакиев.

На что капитан Енакиев, смущенно покраснев, ответил:

— Служу Советскому Союзу, товарищ полковник!

Все это было необыкновенно приятно, и капитан Енакиев предвкушал удовольствие, с которым он пере-

даст своим офицерам мнение командира полка об их батарее.

— Дяденька! — услышал он вдруг чей-то голос.

Он повернулся и увидел Ваню, который стоял перед ним, вытянув руки по швам, и не мигая смотрел синими глазами.

— Разрешите обратиться, — сказал Ваня, стараясь как можно больше походить на солдата.

— Ну что ж, обратись, — сказал капитан весело.

— Дяденька, вы начальник?

— Да. Командир. А что?

— А вы над кем командир?

— Над батареей командир. Над солдатами своими командир. Над пушками своими.

— А над офицерами вы тоже командир?

— Смотря над какими. Над своими офицерами, например, тоже командир.

— А над капитанами вы тоже командир?

— Над капитанами я не командир.

Глубокое разочарование отразилось на лице мальчика.

— А я думал, вы и над капитанами командир!

— Для чего тебе это?

— Надо.

— Ну, все-таки?

— Если вы над капитанами не командир, то и толковать нечего. Мне надо, дяденька, такого командира, чтобы он мог всем капитанам приказывать.

— А что надо всем капитанам приказывать? Это интересно.

— Всем капитанам не надо приказывать. Одному только надо.

— Кому же именно?

— Енакиеву, капитану.

— Как, как ты сказал?! — воскликнул капитан Енакиев.

— Енакиеву.

— Гм... Что же это за капитан такой?

— Он, дяденька, над разведчиками командует. Он у них самый старший. Что он им велит, то они все исполняют.

— Над какими разведчиками?

— Известно, над какими: над артиллерийскими. Которые немецкие огневые точки засекают. Ух, дяденька, и сердитый же их капитан! Прямо беда.

— А ты видел когда-нибудь этого сердитого капитана?

— То-то и беда, что не видел.

— А он тебя видел?

— И он меня не видел. Он только приказал меня в тыл отвезти и коменданту сдать.

Офицер прищурился и с любопытством посмотрел на мальчика:

— Постой. Погоди... Звать-то тебя как?

— Меня-то? Ваня.

— Просто — Ваня? — улыбнулся офицер.

— Ваня Солнцев, — поправился мальчик.

— Пастушок?

— Верно! — с изумлением воскликнул Ваня. — Меня разведчики пастушком прозвали. А вы почему знаете?

— Я, брат, все знаю, что у капитана Енакиева в батарее делается. А скажи-ка мне, друг любезный, каким это манером ты здесь очутился, если капитан Енакиев приказал отвезти тебя в тыл?

В глазах мальчика мигнули синие озорные искры, но он тотчас опустил ресницы.

— А я убежал, — скромно сказал он, стараясь всем своим видом изобразить смущение.

— Ах, вот как! Как же ты убежал?

— Взял да и убежал.
— Так сразу взял да сразу и убежал?
— Нет, не сразу, — сказал Ваня и почесал нога об ногу, — я два раза от него убежал. Сначала я убежал, да он меня нашел. А уж потом я так убежал, что он меня уж и не нашел.

— Кто это «он»?

— Дяденька Биденко. Ефрейтор. Разведчик ихний. Может, знаете?

— Слыхал, слыхал, — хмурясь еще сильнее, сказал Енакиев. — Только что-то мне не верится, чтобы ты убежал от Биденко. Не такой он человек. По-моему, голубь, ты что-то сочиняешь. А?

— Никак нет, — сказал Ваня, вытягиваясь. — Ничего не сочиняю. Истинная правда.

— Слыхал, Соболев? — обратился капитан к своему коневоду, который с живейшим интересом слушал разговор своего командира с мальчишкой.

— Так точно, слыхал.

— И что же ты скажешь? Может это быть, чтобы мальчик убежал от Биденко?

— Да никогда в жизни! — с широкой, блаженной улыбкой воскликнул Соболев. — От Биденко ни один взрослый не убежит, а не то что этот пистолет. Это он, товарищ капитан, извините за такое выражение, просто мало-мало заливаает.

Ваня даже побледнел от обиды.

— С места не сойти! — твердо сказал он и метнул на коневода взгляд, полный холодного презрения и достоинства.

Потом, весь вспыхнув и залившись румянцем, он стал быстро-быстро, пятое через десятое, рассказывать, как он обхитрил старого разведчика.

Когда он дошел до места с веревкой, капитан не стал более сдерживаться. Он смахнул перчаткой слезы, выступившие на глазах, и захохотал таким громким, багистым смехом, что лошади наострили уши и стали тревожно подтанцовывать. А Соболев, не смея в присутствии своего командира смеяться слишком громко — это было не положено, — только крутил головой и прыскал в кулак и все время повторял:

— Ай, Биденко! Ай, знаменитый разведчик! Ай, профессор!

Когда же Ваня стал рассказывать о встрече с военным мальчиком, капитан Енакиев вдруг помрачнел, задумался, стал грустным.

— Они меня, говорит, за своего сына приняли, — возбужденно рассказывал Ваня про военного мальчика, — я у них теперь, говорит, сын полка. Я, говорит, с ними один раз даже в рейд ходил, на тачанке сидел вместе со станковым пулеметом. Потому что я своим, говорит, показался. А ты своим, говорит, верно, не показался. Вот они тебя и отослали.

Тут Ваня крупно глотнул воздух и жалобно посмотрел в глаза капитану своими наивными прелестными глазами:

— Только он это врет, дяденька, что будто я своим не показался. Я-то своим показался. Верно говорю. Они меня жалели. Да только они ничего поделать не могли против капитана Енакиева.

— Что ж, выходит дело, что ты всем «показался», только одному капитану Енакиеву «не показался»?

— Да, дяденька, — сказал Ваня, виновато мигая ресницами. — Всем показался, а капитану не показался. А он меня даже ни разу и не видел. Разве это можно судить человека, не выдавши? Кабы он меня разок по-

смотрел, может быть, я бы ему тоже показался. Верно, дяденька?

— Ты так думаешь? — сказал капитан, усмехнувшись. — Ну да ладно. Поглядим.

Он решительно поставил ногу в стремя и сел на лошадь.

— В ночное с ребятами ездил? — строго спросил он, улыбаясь глазами и разбирая поводья.

— Как не ездил! Ездил, дяденька.

— На лошади удержишься?.. А ну-ка, Соболев, бери его к себе.

И не успел Ваня моргнуть, как сильные руки коневода подхватили его с земли и посадили впереди себя на лошади.

— К разведчикам! — скомандовал капитан Енакиев, и они помчались галопом.

— От Биденко ушел, а от меня, брат, не уйдешь, — сказал ординарец, крепко, но осторожно прижимая к себе мальчика.

— А я сам не хочу, — сказал Ваня весело.

Он чувствовал, что в его судьбе происходит какая-то очень важная, счастливая перемена.

Подъехав к блиндажу разведчиков, капитан спрыгнул с лошади и бросил поводья коневоду.

— Дождитесь, — сказал он и, быстро брэнча шпорами, сбежал по ступенькам вниз.

10

Все разведчики были в сборе и как раз в это самое время играли в «козла». Они с таким азартом хлопали костями по столу, что можно было подумать, будто в блиндаже палят из пистолетов.

— Встать, смирно! — крикнул дневальный, увидав входящего командира батареи.

Разведчики резко вскочили на ноги, побросав кости на стол. А ефрейтор Биденко, который в этот день был дежурным по отделению, как положено — в головном уборе и при оружии, — чертом подскочил к капитану и отпрапортовал:

— Товарищ капитан! Команда разведчиков взвода управления вверенной вам батарее. Команда находится в резерве. Люди отдыхают. Во время дежурства никаких происшествий не случилось. Дежурный ефрейтор Биденко.

— Здравствуйте, артиллеристы!

— Здравия желаем, товарищ капитан! — дружно крикнули разведчики.

После этого капитан Енакиев обычно командовал «вольно» и разрешал продолжать заниматься каждому своим делом. Но на этот раз он молча сел на подставленный ему табурет и довольно долго рассматривал трофейную картину «Весна в Германии».

Батарейцы хорошо изучили своего командира. Достаточно было посмотреть на его нахмуренные брови под прямым козырьком артиллерийской фуражки, достаточно было увидеть его прищуренные глаза, тронутые вокруг суховатыми морщинками, и твердые губы, сложенные под короткими усами в неопределенную, холодную улыбку, чтобы понять, что без хорошего «дрозда» нынче дело не обойдется.

— Стало быть, никаких происшествий не случилось? — сказал капитан, помахивая по столу снятой перчаткой.

Биденко молчал, сразу сообразив, куда гнет командир батареи.

- Что ж вы молчите?
- Разрешите доложить...
- Можете не докладывать. Известно. Хорош у меня разведчик, которого мальчишка вокруг пальца обвел! Командиру отделения докладывали?
- Так точно. Докладывал.
- Ну и что же?
- Командир отделения четыре наряда не в очередь дал.
- Сколько нарядов?
- Четыре.
- Мало. Доложите ему, что я приказал от себя еще два наряда прибавить. Итого — шесть.
- Слушаюсь.

Капитан Енакиев некоторое время не спускал глаз с вытянувшихся перед ним солдат.

— Садитесь, орлы, — наконец сказал он, расстегивая шинель и давая этим понять, что официальный разговор кончен и теперь разрешается держать себя по-семейному. — Отдыхайте. Слыхал я, что вы мужички хозяйственные, будто у вас завелся какой-то необыкновенный пензенский самосад. Вы бы меня угостили, что ли!

Не успел он это сказать, как пять кисетов потянулись к нему, пять нарезанных газетных бумажек и пять зажигалок, готовых вспыхнуть по первому его знаку.

Отовсюду слышались голоса:

— Моего возьмите, товарищ капитан. Мой будто малость послабже.

— Моего попробуйте, мой с можжевельником.

— Разрешите, товарищ капитан, я вам скручу. Против меня тоньше никто не скрутит.

— Может быть, легкого табачку желаете? У меня сухумский, любительский, сладкий, как финик.

— Богато живете, богато живете, — говорил капитан, неторопливо примеряясь, у кого бы взять табачку. — А ты, Биденко, ты зря свой кисет подставляешь. У тебя я все равно не возьму. Накуришься твоего табачку, а потом, чего доброго, проспичь все на свете.

— Верно, — подмигнул Горбунов. — Точно. Это он непременно после своей махорки заснул в машине и па-стушка нашего прошляпил.

— Про это я и намекаю, — сказал капитан.

— Товарищ капитан, — жалобно сказал Биденко, — кабы он был обыкновенный мальчик... А ведь это не мальчик, а настоящий чертенок. Право слово.

— А что, верно — хороший малый? — спросил капитан, затягиваясь пензенским самосадам. — Как он вам, братцы, показался?

— Паренек хоть куда, — сказал Горбунов, улыбаясь той широкой, своей улыбкой, которой привыкли улыбаться все разведчики, говоря о Ване. — Самостоятельный мальчик. И уж одно слово — прирожденный солдат. Мы бы из него знаменитого разведчика сделали. Да, видно, не судьба.

— Жалко? — спросил капитан Енакиев.

— Да нет, что же... Жалко не жалко... Он, конечно, и в тылу не пропадет. А сказать правду, то и жалко. У него душа настоящая, воинская. Ему в армии самое место.

— А не сочиняешь?

— Чего же тут сочинять! Это сразу заметно. Хотя вам, как нашему командиру батареи, конечно, виднее.

— А вы, ребята, почему молчите? — сказал капитан Енакиев, пытливо всматриваясь в солдатские лица. — Как вам показался мальчик?

По лицам разведчиков тотчас разлилась такая дружная улыбка, словно она у них была одна, большая, на

всю команду, и они улыбались ею не каждый порознь, а все вместе.

— Глядите. Думайте. Вам с ним жить, а не мне.

— Подходящий паренек. Одно слово — пастушок, солнышко, — заговорили разведчики, все еще не вполне понимая, куда гнет их капитан.

А он строго посмотрел на них и после некоторого, довольно продолжительного раздумья твердо сказал:

— Ну ладно. Только знайте, что это вам не игрушка, а живая душа... Эй, Соболев! — крикнул он, подойдя к двери. — Давай сюда пастушка.

И когда на пороге, к общему изумлению, появился Ваня, капитан сказал, крепко взяв мальчика за плечо:

— Получайте вашего пастушка. Пусть пока у вас живет. А там увидим.

11

Едва капитан Енакиев вышел из блиндажа, как разведчики окружили Ваню. Всем хотелось поскорее узнать, каким образом все это получилось.

— Пастушок! Друг сердечный! — воскликнул Горбунов.

— Ну, парень, докладывай! — строго сказал Биденко. — Откуда ты взялся? Где тебя черти носили? Как тебя нашел капитан Енакиев?

— Который капитан Енакиев? — спросил Ваня с недоумением.

— А тот самый, кто тебя к нам привез.

— Так нешто это был капитан Енакиев?

— Он самый.

— Батюшки!

— А ты и не знал?

— Откуда ж! — воскликнул Ваня, мигая короткими ресницами. — Кабы я знал... Нет, кабы я только дога-

дывался... Правда, дяденька, самый это и был капитан Енакиев?

— Разумеется.

— Командир батареи?

— Точно. Самый он.

— Ох, дяденька, неправда ваша!

— погоди, пастушок, — сияя общей улыбкой команды разведчиков, сказал Горбунов. — Ты не восклицай, а лучше все по порядку рассказывай.

Но Ваня, видимо, был так взволнован, что не мог связать и двух слов. Восхищенно сияя глазами, он осматривал новый блиндаж разведчиков, который уже казался ему знакомым и родным, как та палатка, где он в первый раз ночевал с ними.

Те же аккуратно разостланные шинели и плащ-палатки, те же вещевые мешки в головах, те же суровые утиральники.

Даже медный чайник на печке и рафинад, который Горбунов уже поспешно выкладывал на стол, были те же.

Правда, трофейная карбидная лампа была другая. Она неприятно резала глаза своим едким химическим светом, который, как и сама лампа, казался трофейным. И мальчик, щурился на нее, морща нос и делая вид, что не может вымолвить ни слова.

На самом же деле, если говорить всю правду, он давно уже смекнул, что офицер, с которым он заговорил возле избы, был капитан Енакиев. Только и виду не показал. Недаром солдаты сразу разглядели в нем прирожденного разведчика. А первое правило настоящего разведчика — лучше знать да молчать, чем знать да болтать.

Так судьба Вани трижды волшебным образом обернулась за столь короткое время.

Темный поздний рассвет чуть брезжил над болотами. Среди черных, гнилых лугов, среди дымчатого кустарника, среди полей, покрытых неровными рядами сжатого, но неубранного льна, болота светились бело и слепо, как олово.

Озябшие вороны, ночевавшие в кустарнике, уже проснулись и с голодным карканьем перелетали с места на место. Они лениво двигали крыльями, отяжелевшими от ночной сырости.

В особенно низких местах на земле лежал плотный белый туман. Призрачные верхушки кочек с пучками мертвой травы, казалось, плавали на поверхности тумана.

Вокруг, насколько хватал глаз, все было мертво, пустынно, очень тихо. Лишь далеко на востоке туманный воздух время от времени вздрагивал, как будто там мягко, но очень сильно хлопали большой дверью.

Но если бы чей-нибудь опытный глаз особенно внимательно присмотрелся к кочкам, выступающим из тумана, то он бы, возможно, и заметил, что две кочки расположены как-то слишком близко друг к другу. Эти две темные кочки с пучками травы были шлемы Биденко и Горбунова. Вот уже три часа они неподвижно лежали среди трясины, покрывшись плащ-палатками с нашитыми на них пучками почерневшей травы.

Разведчики лежали таким образом, что каждый видел, что делается позади другого. Упершись локтями в топкую землю и чуть приподняв головы, они напряженно всматривались каждый в свою сторону.

Изредка они перекидывались короткими фразами:

— Что-нибудь просматривается?

— Пусто.